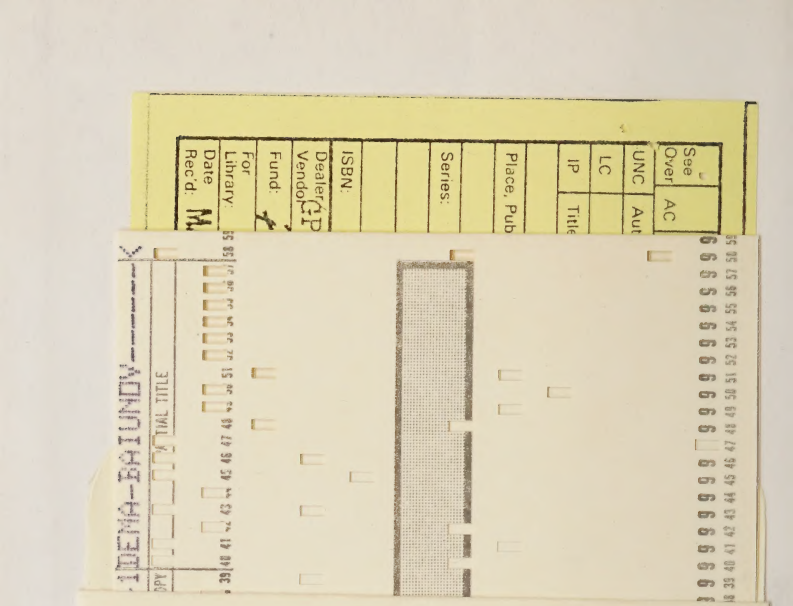

THE LIBRARY OF THE
UNIVERSITY OF
NORTH CAROLINA
AT CHAPEL HILL

ENDOWED BY THE
DIALECTIC AND PHILANTHROPIC
SOCIETIES

PG3476
.K585
D45

DEMCO

a 00000 56428 6

This book is due at the LOUIS R. WILSON LIBRARY on the last date stamped under "Date Due." If not on hold it may be renewed by bringing it to the library.

DATE DUE	RET.	DATE DUE	RET.

Form No. 513

Digitized by the Internet Archive
in 2025 with funding from
University of North Carolina at Chapel Hill

https://archive.org/details/dmabaiunovpovest00koro

НОВИНКИ ПРОЛЕТАРСКОЙ ЛИТЕРАТУРЫ

ЯК. КОРОБОВ

ДЁМА БАЮНОВ

ЛЕНИНГРАД
ПРИБОЙ

ВСЕСОЮЗНАЯ АССОЦИАЦИЯ ПРОЛЕТАРСКИХ ПИСАТЕЛЕЙ

3pL
C
PG 3467
.K585
D45
DEMA BAIUNOV

ЯК. КОРОБОВ

ДЁМА БАЮШОВ

ПОВЕСТЬ В 5 ЧАСТЯХ

РАБОЧЕЕ ИЗДАТЕЛЬСТВО «ПРИБОЙ»
ЛЕНИНГРАД

Ленинградский Гублит № 39718. Тираж 7.000 — 19 л. Заказ № 985

Государств. типогр. им. Евг. Соколовой, пр. Красных Командиров, 29.

I

По Синоборью каких только людей не сыщешь. Сторона лесная, коряжистая. Народ здесь угрюмый, приземистый; к двадцати годам по глаза шерстью обрастают. Девки тоже подстать — восемнадцать годов, а она что лежа, что стоя — поперек ее шире.

А почему? Да просто народ кормный и с измалетства в работу втянут: летом на поле, а зимой в роще то лес валят, то пеньки корчуют.

После войны оборвались, обносились, а на кукишь не купишь. Бывало бы, когда еще бабы домотканные сарафаны носили, а мужики штаны и рубахи посконные туда-сюда, а теперь обойди все Синоборье наредь в какой избе стан увидишь, ситцем да миткалем обходились, а как пришла нужда и о нем вспомнили.

— Ты бы, Павлуха, мне стан наладил... Как ты не бейсь, а прикрыть наготу надо...

Поворчит, поворчит Павлуха, а начнет из-под куриного насеста стан откапывать. И то сказать, покуда городского товара ждешь, последние портки свалятся.

А другой бабе и мужик напомнит:

— В стару-то пору, ты думаешь, так вот все в ластике да бумазее, нет, сударка! Бывало ма-

тушка-покойница стан только к Троице выносила. Зато прорехами не хвалились, а у нас гляди—наклонится, и сзади рубаху поднимет — везде продушины, как еще кошки не оторвут.

Это все Дёма Баюнов над своей бабой прокуратит.

А та на дыбки, и того нет и другого нет, а признаться не хочет, что не знает с какого бока к стану подойти. Начнет высчитывать, во что своя холстина обойдется. И такой расчет выведет, что себе в убыток. Плюнет Дема, да и начнет обдумывать, как бы новые портки оборудовать.

Конечно, не все Синоборье так-то, в других деревнях, особенно к стеклянному заводу поближе, там скорехонько справились. Не только ситец или бумазея в редкость, девки шелковых платьев нашили.

А парни? Френч не френч, галифе не галифе, а все от заводских переняли. Заводские ребята забыли как по деревням с ручкой ходили, как на последнее охоботье меру картошки выменивали, теперь за городскими тянутся, а деревенщина глядела, глядела, да я сама начала по-городскому ножки вытягивать.

Что говорить, если бы только за этим дело, глядишь и мызинские от заводских не отстали, да народ здесь не такой. У мызинских все еще и сейчас по-старинке. Прежде всего, чтобы изба была как следует — аршин на двенадцать, на десять, чтобы на дворе скотина не зябла и чтобы на зиму зубам работа была. А одежда, что это? Так себе, пустая забава. Насчет носильного еще так и быть, а чтобы вот как картмазовские френчи да галифе, этого не было. Если Дема на жену попенял, так уж нужда заставила, люди стали смеяться. Выйдут на сход, сядут на завалинке,

а другие и прямо на землю, пока староста не пришел сидят и зубы чешут.

Разлопоушится Дема, ноги раздвинет, а какой-нибудь обормот прутиком и начнет ему в прорехах щекотать. Рассердится, а потом и сам посмеется:

— Жизнь, мол, жизнь, когда ты похужишь...

А ему в десять глоток:

— На что уж хуже, коли все нутро наруже?..

Так чудачком и отходил, а домой вернется опять припомнит, стыдно станет. В голове-то сотня думушек побывает, как бы из такого положения выкарабкаться, а придумать ничего не придумает с этим и спать ляжет.

Варюха у него баба мягкая, работой не задразнишь, зато уж и с Демы не требовала: что есть, то и ладно. Всем довольна. Бывало с ней Дема про нужду начнет, а она только одно:

— Перебьемся как-нибудь...

— Что ты кирпишна клетка?—Дема рассердится, а Варвару и тем не проймешь. Зато с таким человеком Деме в голодную пору легко жилось. Другие-то, чуть в чем нехватка, первым долгом на мужиков засядут: «дай да подай», а Варюха только бы детям кусочек урвать, а о себе — словно паром сыта.

Так и жили, особенно не бедствовали, как другие у них же в мызине, а получше кто бы не рад?

В последний год на фронте, когда Дему из солдата в красноармейца переделали, все как-то по-другому казалось. Думалось, только бы отпустили, а там своя деревня, своя изба, своя баба, чего еще? А пришел в деревню—деревня чужая, в избе пожил—в избе тошно, к бабе подвалился и баба не та. Все по-другому, чем до войны было.

Деревня, все в том же порядке — две улицы, бобыльская слобода, два колодца, один на прогоне, другой в конце, а народ не тот. Все о чем-то говорит, о чем-то думает. Это бы ладно— шепчутся. На сход соберутся все с оглядкой, сколько времени к Деминой шинели не приглядели. Все говорят, все говорят, а как Дема показался, сейчас и мяк. Другой раз даже досадно сделается:

— Что вы, как чорт от ладана?..

— Разве мы што? — удивляются.—Это тебе почудилось...

Особенно Кокины от Демы шарахались. Два брата, оба мужики продувные. Раньше углями промышляли. Как зима — в лес и до великого поста в деревню не заглядывали. Бывало столько этого угля нажгут, что вся деревня у них под извозом. Платили аккуратно, а без греха все-таки не обходилось. К расчету дело, все с кем-нибудь неприятность выйдет. Только особенно заедаться с ними невыгодно, главное народ нужный. Другой раз трешница вот как понадобится, а откуда взять? Иди к Кокиным, покланяйся, голова не отвалится, глядишь выручили. А мужик трешницу перехватил и житель. Один только раз у Демы с Кокиными грех вышел. Это еще до войны. Дема у них в эту зиму угли жег, а Варвара на рабочих кашу варила. Младший Кокин был до баб очень алашный, ни одной проходу не давал. Приглянулась ему Варвара, он и ну к ней с солодом подъезжать. Та и так и этак, а он прямо быком прет. Варвара Деме пожаловалась, конечно, не полюбилось. Как-то утром, совсем почти день белый, выгреб он яму и что-то в голову пало — «добегу до кухни, что там Варвара делает». Сейчас же и Кокин Петруха представился:

«Удохает, сукин сын! Нипочем бабе не отбиться...»

Входит, так и есть: Варвары у печки нет. Заглянул в каморку, где у нее кутник прилажен, а Петруха там ей салазки загибает.

Не стерпел Дема и прямо его за штаны и на пол грянул, да еще раза два в рыло обмороженным лаптем ткнул. А Варвара? — что с такой взять — ревет, как корова, и тоже на Петруху пеняет:

— Изломал, нечистая сила...

Петруха не стал связываться, оправился и вон, а если бы захотел и попало бы Деме. Мужичище здоровый, а Дема еще тогда жидковат был, по-настоящему в тело не вошел. Хотел он тогда в суд подать, да только срамится не захотелось. В этот же день расчет получили и оба в деревню вернулись.

С тех пор Кокины Дему на работу не брали, не только в лес—под извоз отказывали. А тут война, тут голод, тут на Кокиных гоненье пошло, каждому самому до себя. Они, Кокины-то, и сейчас не плохо живут, только от мужиков того почета не стало, что до войны было. Теперь на сходе не так уж глотку дерут, а чуть что, сейчас и спичка в нос:

— Не стара пора, не больно испугались...

Не любо, а стерпят. Против мира не пойдешь. А что мир против них, об этом и рассказывать нечего. Особенно молодятина, которая на фронте побывала да из Красной армии вернулась. У нее все по закону да по писанному, как ты с ним спорить станешь?

Старший Кокин, Феклист не Феклист, а Феоктист, как по бумагам значится, он постоялый двор держал, ему на мирские дела плевать больно. У него копеечка каждый день катится. Особенно зимой, когда с завода на станцию посуду везут — целыми

обозами ночуют, а вот Петрухино дело — никак! Он и лавочку, он и в кооперацию, мечется, как бес от грозы, а нигде места не согреет. Начал к земле поближе держаться. Кое у кого земли прихватил, вторую лошадь завел и стал в дом работника приглядывать.

О Кокиных что говорить, народ дотошный, такие не пропадут. У них всякое дело от рук не отобьется, а наш брат, беднота, куда не сунется — везде грош наклады. Того же Дему взять. Вызвали его в волость, ну не волость—вик что ли прозывается. Говорят:

— С лета на Черной речке будут мост строить... Надо лес готовить...

Слушает Дема и никак в голову не возьмет, что это властям понадобилось с ним про мост совещаться. А секретарь не вика, а ячейки какой-то ему опять про свое:

— Нуждаешься?

— Как, мол, не нуждаться, ободрались, можно сказать..

— Так вот, подбирай артель лес валить...

— Подобрать не вещь, только ведь деньги понадобятся ..

— Деньги будут, нужно артелью...

Стали обсуждать условия: какие расценки, куда надо еще сходить и когда приступать к работе потребуется. Дема все слушал, особенно в разговор не пускался, все хотелось себе цену набить, чтобы секретарь ему доверял больше.

Вернулся домой и, когда обедать сели, Варвару по коленке хлопнул:

— Молчи, Варюха, скоро все дыры заткнем: такое дело подвертывается! .

— Либо бы, господи, — Варвара в передний угол поглядела, где черные доски коптились.

И первый раз мужу пожаловалась, что у нее не нынче — завтра перемениться будет не во что.

После обеда Дема все об этом же говорил. Как только, господи благослови, в первую же получку — надо будет носильного купить. Потом, как ты не бейсь, а поправлять избу не минуешь. Два нижних венца совсем пропали. А печь? Печку хошь сейчас перекладывай, по-черному топят.

У Варвары тоже свои соображения:

— Пеструху обязательно продать... Кака эта корова, — другая коза больше надоит... а перед выгоном, хошь телку — только бы молодую...

Да стоит ли об этом говорить, когда у них, може, большие деньги на руках будут. Главное, только бы секретарь не отказался да мужиков подбить.

Дело к вечеру, а Деме в избе не сидится, хочется поскорее за дело приняться.

— Пойду к Балявину, — Варваре говорит: — попытать надо, как мужики согласятся. — Балявин все одно, что Дема — из кулька в рогожку перебивается. Таким людям выбирать не из чего, куда ты не пошли — хошь в отходники.

— Валяй, Дема, неужто дела не сделаем?..

Стали прикидывать, кого еще в артель позвать.

— Семочку Рощина, обязательно, — Балявин предлагает. — Игоху Фомина, Васю Дупеля, Андрея Короткова — все наш брат, у всех кусать нечего...

— Народ подходящий, что говорить — с этим и Дема согласен — только Дупеля я бы не позвал, уж больно он к Кокиным привержен...

— А по-моему нет ни што... Ежели он иху руку держит, так нужда заставляет... я бы по-своему — пусть...

Дема спорить не станет: «звать, так звать, пить-есть каждому надо». Теперь вот как на счет ин-

струмента? Двенадцать человек насчитали, а на всех только три пилы найдется. И топоры тоже. С такими топорами только прясло городить.

Надо бы напрежь всего денег просить...

— Какой ты человек, Балявин, — Дема удивился. — Денег просить, когда швырка не сделали... Погоди денек-два поработаем, а там и денег попросим...

Домой вернулся, когда по всей деревне огни потушили. Калитка не заперта, а в сенях и крючка не было.

Спичку зажег, хотел еще с Варварой поговорить, да где уже, храпит на всю избу, словно воз везет.

Делать нечего, полез и Дема на печь. Лежит и в черный потолок глаза пучит, слушает, как тараканы шелестят. Спать не хочется. Оперся локтем на изголовье и стал из-за трубы на окошко пялиться.

«И вся вот жизнь так, — про себя думает: — не ждешь, не чаешь, откуда, что придет... К примеру вот меня взять! Какой я есть человек?».

С самого начала свою жизнь припомнил. Бывало еще при отце, мальчишкой, как это жить хорошо было, ни тебе заботы, ни печали, ни воздыхания, все словно по маслу шло, а, ведь, отец тоже не из богатых. Только одно — оборотистый мужик был. По всей округе Баюном звали.

— Ну и баюн из тебя, Прокофьич!

А он только рукой по бороде вниз:

— Грешный человек, люблю побаить...

Известно, и в теперешнее время такие есть, только у них разговор другой. Он тебе слова не скажет, чтобы матершины не ввернуть, а Баюн все больше от писания, или из житейского, ну и слушали.

Ведь вот он, Дема, сын ему, а против отца, где там, далеко не родня. Нельзя сказать, чтобы за словом в карман лазил, а бойкости этой нет.

Его еще при отце женили, как только мать умерла, чтобы печку не осиротить. Девку подыскали хорошую, ну и от дома. Отец Варварин у Голубевых лес сторожил и по крестьянству был мужик справный.

Спервоначалу Деме полюбилось на женатом положении, а потом, как Варвара прислась, стал поговаривать: «женили раненько, погулять не дали». Попенял, попенял, а жить надо—баба не лапоть, с ноги не сбросишь. А тут отец умер, а тут сгорели два раз, а тут солдатчина, так и забыл Дема, что погулять не пришлось и что бабa ему досталась такая рыхлая.

Прошло двенадцать годов. Теперь ему кажется, все бабы одинаковы. Это в солдатах, на казенных хлебах, еще бывало на какую-нибудь потянет, а теперь вот ему и думать не хочется. И не до этого. Из головы не выходит, как бы до лета дотянуть да с голода не подохнуть. Кабы он один был, а то помимо их с Варварой четверо, одного хлеба не напасимо.

Думал, думал Дема, а заснуть никак не может. Вторые петухи пропели, а у него в голове одна думушка: как бы поумнее за дело приняться и эту артель сколотить.

— ...двести сорок бревен. Считай пять копеек с дерева... куда ты Дема будешь деньги девать?..

— Ах, Тимофей Иваныч, при нашем положении, дай ты вдвое больше, и то всех дыр не заткнешь...

— А зачем ты столько дыр навертел?—Тимофей Иваныч и брови нахмурил.

— Это уж от бога, каждому свое,—Дема оправдывается.— Ты говоришь, куда девать? — Нам по рубашке, так шесть рубашек, по куску, так шесть кусков...

— Брось, считай по ямам...

Стал Дема ямы считать, а они все голубые и в каждой что-нибудь на дне лежит: в одной рубаха новая, в другой платок красный, а в третьей сапоги валеные.

«Вот бы мне», — про себя думает и хочется ему Тимофея Иваныча от них подальше отвести, чтобы тот не заметил. Все ямы пересчитал:

— Сорок две,—говорит и потихоньку на те косится, в которых товар приметил. Тимофей Иваныч все что-то в книжку пишет, а потом на Дему:

— Правильно?..

— Неужто совру — Дема побожиться готов и чувствует, как у него лицо покраснело.

Поглядел на Тимофея Иваныча, а это вовсе не он, а Петруха Кокин. Стоит и на него зубы скалит:

— А ведь я твою Варюху пятил...

Тут и Дема не стерпел. Поднял из-под ног орясину и прямо на Кокина. А тот пятился, пятился и в яму бух! За ним и Дема провалился. Вскрикнул и глаза открыл: печка, труба, окошко белое и Варюха со двора кур заманивает.

— Приснилось, туды-е мать!.. Что ты дверь-то растяпила? — На Варвару сердится.

— Больно на дворе холодно... Петушишко весь гребень отморозил...

* *
*

Перед Николиным днем Баюнов в город пошел. Артель у него хошь сейчас готова, только вот что-то все инженер затягивает, которому препо-

ручено мост строить. Покуда Дема в канцелярии дожидался, сколько мимо его людей прошло. Каких нет только. Сорок верст от Мызина, а и то своих встретил. Тимофей Иваныч, секретарь, с которым он об артели договаривался, Дему признал.

— Наладил? — спрашивает.

— В лучшем виде, — Дема улыбнулся.

— Ладно, сейчас позовут...

— Уж больно долго, — Дема пожаловался: — с самого утра крошки во рту не было...

— Что делать, потерпи... Вот уж совещание кончится...

Стал Дема терпеть и от скуки по сторонам смотрит: кто куда пойдет, кто что делает.

У одного столика словно кто знакомый притулился, а кто, никак не разглядишь. Прошел Дема будто покурить поближе к двери, так и есть— Кокин Феклист.

«Что этому понадобилось», — Дема соображает. А тот все тому, что за столом пишет, все на ухо, все на ухо, — о чем говорят, конечно, не разберешь. Машинистки барабанят, только треск идет.

Из кабинета от начальника выходить стали.

— Кончилось, — Дема обрадовался.

Народ пошел особенный, сразу видно начальники и одеты и кожаные сумки под мышкой, ну и глядят — не так, как все. Шестым из кабинета— опять знакомый: красный директор Пуговкин, на стеклянном заводе третий год орудует. За ним какой-то коротенький утямился, так ему за рукав и цепится:

— Мы по профлинии, мы по профлинии!

— А мы по какой?—Пуговкин огрызнулся и от коротенького отвернулся, чтобы какого-то бритого задержать.

Возле самого Демы стали, разговаривают.

— Раньше лета ничего не выйдет.—Прямо Пуговкину отрезал.— Подготовительные работы еще с осени ведем... Теперь лес, материал... К осени, ближе не кончим...

Пуговкин правую щеку сморщил, знать улыбнуться хотел, да не вышло, и глаза такие сердитые сделал:

— У меня обозы станут... Теперь вот в Ташкент восемь вагонов грузим, а к весне на Кавказ столько же, дороги сами знаете... Мост надо срочно строить...

— Я вам говорю, что за материалом дело...

Минут через десять Дему в кабинет позвали. Председатель начал по списку спрашивать, что за народ у него в артели. Про всех рассказал, а тот любопытный до тонкости добирается:

— Вот, мол, Вася Дупель... Как у него хозяйство? Лошадь? Земля? Батрака не имеет ли?..

— Какое там батрака, сами бы пошли, только некуда...

— А этот Фомин не из кулаков будет?..

— Да что ты, господь с тобой, рази кулак в наше дело пойдет?..

Поговорил еще, как будут деньги платить, к какому сроку работу окончить, а потом за каким-то Яков Мысеичем парнишку послал.

Минут через пять Яков Моисеич пришел, тот бритый, который с Пуговкиным говорил, и прямо на председателя.

— У нас всегда так!.. Чуть что — спец виноват...

— В чем дело?

— Да Пуговкин! Ему, видите ли, надо посуду грузить, а у нас постройку моста оттягивают...

— Кто оттягивает?

— Мы, значит...

— Это дело наше, — председатель при Деме говорить не стал:— вы, Яков Мысеич, с Баюновым поговорите на счет инвентаря... Народ у него подобрался, что надо... Топоришко—не у каждого...

Яков Мысеич на Дему взглянул, точно кипятком хлестнул:

— У нас тоже нет свободного...—и, повидимому, что-то по секрету передать хочет.

— Ты, Баюнов, выдь на минуточку, — председатель так ласково.

Вышел Дема и у двери к косяку прислонился. Ноги что-то сдавать стали, должно-быть, в окопах застудил да и в Туркестане тоже: день — жара несусветная, а ночь — холодищем понесет. Где уж тут здоровье соблюсти. И то сказать — вчера сорок верст отмахал и нынче с утра на ногах, ну и можжат.

В кабинете сперва все в полголоса, а потом нет-нет и до Демы словечко долетит, только не поймешь, что к чему.

— Беднота... беднота... организация — это голос председателя.

А Яков Мысеич ему все напоперек норовит и раза два что-то про Кокина.

— Все на свои средства... авансы... авансы... Никакой надежды нет...

Поговорили еще с минутку и снова Дему крикнули.

— Ну, Баюнов, можешь работать... Шесть пил и восемь топоров получишь у Якова Моисеича...

— А вот, как бы на варежки, — Дема в шуточку подъезжает.

— Денег что ли?

— Самую малость, чтобы оборот сделать...

Яков Мысеич на председателя глядит и словно ему что сказать норовит, только тот на него глаз

не подымает и все что-то на листочке вдоль и поперек пишет.

— Хорошо, немного отпустим... Завтра приходи часам к десяти, а нынче на счет инструмента обделывай, . .

Вышел Дема из кабинета, ног под собой не слышит. Дело наклюнулось, только бы какой злой человек ножку не подставил, а за работой они не постоят. Народ небалованый, к работе сызмала привык.

На постоялом дворе народ в повалку лежит. Все лавки, все углы заняты. Деме уголок возле печки отвели. Рядом какие-то дальние, не иначе шерстобиты расположились. В головах мешки с колодками, и больно этой шерстью—не дохнешь. Лежат по полу и промеж себя про домашнее говорят. Дема то туда, то сюда повернется, а поговорить не с кем, все народ чужой, а ему так бы каждому рассказать хотелось, как он до сих пор бедствовал, а теперь вот «котелок сварил» и такое дело оборудовал.

В переднем углу какой-то старец растянулся, а с ним мальчишка лет двенадцати, которого он «отрок Стефаний» зовет. Старик угрюмый, ни с кем не разговаривает, только хозяйке постоялого двора ответил, что «Рождество в нынешнем году на такой-то день приходится».

Отрок Стефаний тут же на скамье приткнулся и ночлежников оглядывает.

Хозяйка стала на ночь лампаду оправлять, старика потревожила:

— Не взыщи, христа ради, одну минуточку, — а сама на скамейку встала и шпилькой из головы фитиль вытолкнула. Слезла, опять старику:

— Ложись с богом, — и три поклона перед святыми отвесила.

— Гляжу я и диву даюсь, — когда от образов отвернулась: — ну-ко какой народ пошел... Хошь бы тебе один на сон грядущий лоб перекрестил... Басурманы да и только!..

— В священном писании предусмотрено: поражу пастыря и рассеются овцы...

— Царица небесная, матушка! — хозяйка на чей-то мешок присела.—Ну пусть бы там ученые, а то наш брат, лапотники...

— А ты полно, тетка,—кто-то из угла крикнул,— не сокрушайся, больше грешников—тебе на руку: любое место в раю выберешь...

— Провалиться бы тебе окаянному, язык-от не отсохнет—мелешь не знамо што...

Отрок Стефаний под кафтаном фыркнул, на него старик обернулся. Ничего не сказал, посмотрел только.

— Это правильно, — Дема «окаянного» поддержал. — Кажному не заказано. Один — о царстве небесном, а другой — о житье расчудесном...

— А ты бы уж молчал, коли бог убил, — хозяйка на Дему окрысилась. — Гляди-ко, расцвел?.. Дыра на дыре, заплата на заплате...

— Это ты верно.—Дема с веселого духа с хозяйкой согласился. — В город собрался — баба целый день штаны латала, а то, понимаешь, наклонюсь, а ветер вплоть до ворота...

Все засмеялись, а хозяйка только плюнула. Отрок Стефаний хотел было голову поднять, да старика побоялся и снова под кафтан нырнул.

Теперь Дема со всеми освоился, и сразу как-то веселее стало. Те, что рядом о домашности говорили, лицом к нему повернулись, а другие—с полу привстали и начали папироски вертеть.

— В этим стыдиться нечего. Я прямо говорю, — Дема себя уверить хочет. — Нам не до этого... Я вот второй год бьюсь, и никак на себя хламиду не натяну...

— Что говорить, кто осудит, ежели человек понимающий?..

— От себя все, — хозяйка не сдается. — От господа бога отступились...

— Ты все не дело толкуешь, — кто-то от порога хозяйку обрезал. — От бога отступились! Не мы отступились, а он от нас...

— За хорошие дела не отступится...

— Да, тебя бы в мою шкуру заправить, а потом и спросить: как, мол, ты от бога отступилась, али он от тебя?..

— Што уж больно?

— Да то, пустые слова все. А то — бог! Я вот шестьдесят годов прожил и ни одного раза не слыхал, чтобы бедняк от бога милость получил, а все больше такие, как ты с мужем, которым кусок дешево достается...

— То-то позавидовал. Мы круглые сутки покоя не видим... Все на ногах, все на ногах, — хозяйка с мешка встала.

— Не даром тебя развезло — поперек себя шире, — парнишко-шерстобит крикнул.

— Измаялась, сердешна — поди пудов на семь вытянет...

— У нее и хозяин, слава тее господи...

— Два сапога пара...

Хозяйка не знает отвечать кому, изо всех углов шпильки вставляют. Обругала всех скопом и в кухню ушла.

Помолчали маленько и снова заговорили. Теперь уж не все вместе, а каждый в отдельности. Дема с шерстобитами:

— Дело ваше, конешно, хорошее, только народ прибеднялся, шерсть какая есть бывало всю себе оставят, а теперь в город...

— Хвалиться нельзя, — старший соглашается.— Вторую неделю работы ищем, нет и нет... Всю Вальковщину обошли, на Высоку реку поднимались, нет... Теперь вот в Синоборье опять, из Починок мы...

— Не знаю, как где, а в Мызине едва ли... У нас и овец-то перевели... Сперва это война, голод, а тут волки одолели... Страсть как бьемся... Я еще, слава тебе господи, кое-как из нужды выкарабкался... Дело такое выходит... за этим вот и в город приехал... Дело ха-арошее... Как звать-то тебя, — старшего спрашивает.

— Данило... а это мои робяты: вихрастый — это Колька, а поменьше — Кирька.

— Так вот, дядя Данило, тридцать два года прожил и все случая ждал... не выпадет ли... Другим удается...

— Значит выпал? — Данило заинтересовался.

— Завтра велели за деньгами приходить, истинный господь!..

Данило не спорит. Не всякому, а другим везет. А вот он, с этим, знать, и подохнуть придется, никак эту нужду с плеч не скачает. Раньше все думал: а вот уж робяты подрастут, тогда полегче будет, ан нет, как ты не бейсь, год от года хуже. Вот теперь у него дома девка осталась, а что она? Другие-то замуж вышли, а у нас и подняться не с чем, ни обуть ни надеть нечего. Нага и боса, как говорится, кому такая нужна. И нельзя сказать, чтобы дурного лица, али с пороком каким. Так уж говори, человеку слетья нет.

— Нашу-то Саньку тоже сватали — Кирька за сестру вступился: — только приданого не было... Вдовец один... а после на родихе женился...

Колька его в бок толкнул, дескать, — молчал бы лучше...

Кирьке не полюбилось, «что ище?» К брату поворотился.

Данило на ребят прикрикнул:

— Будет вам! — А с Демой опять разговор. — Сватал, это правильно, только, что уж это за жених: шесть человек детей да и сам чуть не мне ровня...

— Так загляни, если до Мызина доберешься.— Дема Данила потешил, когда стал спать укладываться. Ребятишки тоже уснули. Данило на двор сходил и тоже Кирьке под бок подвалился, молодая кровь горячая, лучше печки греет.

* * *

На другой день Дема только к обеду управился, деньги получил, хошь не столько, сколько требовалось, а все-таки начать есть с чего. Пилы и топоры он на постоялом оставил, чтобы, когда с завода обоз придет, по пути до Мызина доставили. Всю дорогу шел и за карман держался, где у него артельные деньги хранились, злых людей опасался и про свой случай раздумывал.

Перед Рамешками его Феклист обогнал. Лошадь у Феклиста резвая, он ее в совхозе купил, говорили, рысак был. У Феклиста в пошевнях какой-то человек сидел, и только когда на полверсты отъехали, Дема догадался:

— Не иначе Пуговкин... Шапка и тулуп его...

Стал об нем думать: пофартило человеку, из простых рабочих, а вот директором. В хозяйском доме живет, все рабочие перед ним мое почтение, ну и нужды не терпит. А главное, человек настоящий. Про него свои же заводские:

— Сурьезный человек, а понимающий, кто об этом спорит...

А что Пуговкин сурьезен, это не мимо сказано: рабочие у него в струне, а завод словно в кулаке сжат. Такого на кривой не объедешь. И то сказать — три года на одном месте. С полгода все производство налаживал, после войны на заводе только старики остались, а теперь всех старых мастеров собрал, печи переложил и вокруг всего завода дровами обложился.

— Хозяин, что твой Голубев! — те же рабочие говорят, а Голубев прежний заводчик был.

Про Пуговкина и власти говорили, «что, дескать, на своем месте человек, только хозяйственник партийца съел». А Пуговкин уж такой человек, что за что ни возьмется, только тому и верует, а на остальное рукой махнет. Никак это он себя к дисциплине не приучит: как был рабочим до революции и только свое дело знал, таким и теперь остался. Секретарь губкома по этому случаю его нарочно в губернию вызывал.

— Отрыв от масс... в месткоме склока и до сих пор ячейки нет...

— Я производство веду, — Пуговкин оправдывается, — а не пропагандой занимаюсь... У меня выработка против прошлого года на 50% повысилась... Новый корпус отстраиваю...

— Все это так... но ты коммунист, прежде чем стал директором... У партии есть и другие задачи...

Пуговкин сердится, он никак не поймет, как это в его деле сделать, чтобы овцы целы и волки сыты.

Раз мы стали промышленность поднимать, так не по щучьему веленью, надо что-то кому-то делать... Надо кого-то заставлять, надо с кого-то требовать...

— Прежде всего, — секретарь перебил, — как ты на производство глядишь... Что это, частное предприятие или социалистическая организация? Я тебе советую немножко подчитать по этому вопросу... Да!.. Если хочешь, можно отпуск дать...

— Какой тут отпуск. — Пуговкина так и передернуло. — Отпуск? Я не знаю как с делами справиться, а тут отпуск...

Тут уж Пуговкин во всю разошелся. Главное, такое ли время, чтобы об отпуске думать? Теперь ему во что бы то ни стало до весны надо посуду к станции подвезти, а то дороги испортятся — все дело станет. Ну, будь бы мост, конечно, и весна не страшна, а то с мостом все только еще раскачиваются. Постановили? А что в этом, что постановили? Пуговкину яснее ясного, что к осени мост не поспеет, а там опять распутица, месяц-два снова перерыв. Из Ташкента с ножом к горлу пристают, с Кубани, в Сибирь требуют:

— А если бы по-настоящему дело поставить, до осени два моста можно построить...

— Я звонил, сказали, все налажено...

— Наладили! Если бы все так налаживали, так нам бы порток не удержать. Яков Мысеич не торопится: «за материалом дело»... Словно об этом раньше нельзя было подумать. А теперь с лесом? Артель собрали, как же «организация бедноты»! Подрядчика не надо, партийное влияние... Нет, если дело делать по-настоящему, так надо и людей настоящих, а то Дема Баюнов! Который три года не соберется порток переменить... И словно других людей нет, ну сами не знают, спросили бы... Например, Кокины...

— Нет, Пуговкин, что ни говори, надо тебя к порядку призвать... Ты, брат, такую контр-

революцию разводишь, слушать не хочется... Мы тебя отзовем, что это такое?..

— Отозвать кого хочешь можно, это Пуговкину и без того известно, а вот кто работать станет, тут подумать надо. Уклонист? Какой Пуговкин уклонист, если всю его нутрину развернуть? Кто с Колчаком боролся? Кто с басмачами дрался?.. Кто — с Юденичем? Кто белогвардейщину у себя вытравлял?

«Пуговкин? Да, я это и сам знаю... Вот она— Пуговкин на груди рубашку раздвинул и два продольных рубца показал. — Мне ничего не надо, отзывайте, только завод жалко... Станет...».

Поговорили крупно, а простились по-приятельски. Друг другу не в диковинку, что тот, что другой — оба рабочие, только секретарь Чулошников по партийной линии силен, зато по хозяйственной — грош цена.

«У такого бы в два счета завод разбазарили»,— это Пуговкин подумал, когда к Феклисту в пошевни забирался.

В Рамешках остановились лошадей кормить да за одно уж и чаю напиться. Пуговкин с утра по учреждениям мыкался, не успел глотка чаю выпить и только к вечеру вспомнил, что подкрепиться надо.

Дема тоже зашел в чайную. Ему до Мызина нипочем не дойти, как ты ни спеши, а ночевать в Рамешках надо, главное, человек с деньгами.

— Вот и Дементий на рысях, — Феклист Баюнова встретил. Смеется и Пуговкину на Дему показывает. — Теперь, брат, перед ним без шапки настоишься, человек на линии...

— А ты полно Феклист... Пустяками все... Вот устал до смерти,—Баюнов на лавку опустился.— Ну-ко дай чайку парочку, — хозяину крикнул и стал сумку развязывать.

Пуговкин пил чай и Феклистовых слов не слышал, у него голова другим занята, пустякам места не было. А секретарь подчитать велел. Хорошо ему, когда у него другого дела нет, а тут как день начнется, как собака за язык подвешена. И то и другое, и все до него касается. Читать он и сам пробовал, да что-то в голову не лезет, и кроме того, чего бы он ни начал, по читанному все не так выходит, как он по-своему, по-простецкому полагает.

— Поедем,—Феклисту говорит.—Завтра у меня совещание, а я три дня в городе промыкался, теперь в неделю не наверстаешь...

Покуда он тулуп натягивал, Дема с него глаз не спускал, словно ему разглядеть хотелось, какие-такие люди бывают, которым случай помогает.

«То же, что и мы грешные, — про себя подумал: — только одно, что в грамоте побольше смыслит...».

Феклист со двора вернулся, стал за овес расплачиваться и, покуда сдачи дожидался — опять с Баюновым заговорил:

— Говоришь, подряд взял?..

— Подряд не подряд, а работенки добыл,— Дема нарочно простачком прикинулся, чтобы Феклиста не раздразнить.

Теперь ему со всем народом хочется в дружбе находиться; главное, как-то стыдно Деме, что вот этих самых людей такая уйма, все нуждаются, все работы ищут, а ему, «не просил, не кланялся»,— и такое счастье привалило.

— Дай бог, дай бог,— Феклист будто с веселого духа: — только, смотри, кишка не тонка ли, не выдержишь...

— Спаси бог, что это? К работе мы сызмала...

— Не в этом дело... тут, брат, смекалка требуется... Надо с народом уметь... Да, брат, погоди, как тебя валтузить начнут твои-то приятели...

Вот уж этого Дема совсем не понимает. И чего только надо Феклисту? Если завидно, сам хлопотал бы, а то пугает и пугает. А все-таки, вот, власть какая ни на есть, а не Феклиста позвала, а его, Дему. Значит есть что-то такое, почему ему такого дела доверить нельзя. А раз так, конечно, Дема в задор не пойдет, Кокин и так обижен:

— Поглядим, — Феклисту прямо в глаза поглядел: — а от рук отобьется, что же, другого ищи...

— Об этом надо бы раньше подумать, — даже Пуговкин вмешался. — А то волокита одна...

— Да что вы, братцы? Ни коня ни воза, а вы уж...

— Не за свое дело браться не надо, вот что,— Пуговкин с порога сказал: — а где у меня сумочка?— Пуговкин кругом оглянулся.

— Не она ли? — Дема подать поторопился.

— Она самая... Спасибо Баюнов. — Пуговкин повеселее на Дему взглянул и Деме показалось, что Пуговкин вовсе на него не сердится, а если что и сказал, так, може, его жалея.

Покуда гостей провожали, Дема за чай тоже не принимался, и налитый стакан совсем остыл. Выплеснул в полоскательницу и горячего налил. Пил он залпом стакан за стаканом. Обида на Феклиста вместе с потом вытекала, в груди у Демы осталось одно хорошее: «спасибо, Баюнов» — это ему Пуговкин сказал, значит знает его. Оттого ли, нет ли,—только стало ему еще лучше. Теперь для него все люди хороши.

Что у него за пазухой шестьдесят рублей, он никому не говорил, а другой раз так бы кажется кстати было, но, ведь, неизвестно, какой еще народ здесь? Скажи, а тебя и встретят за деревней: «Ну-ко, — скажут, — выворачивай». А чтобы никакого подозрения не было, Дема нарочно начал свои недостатки выказывать.

— Вот они, — у полушубка полы раздвинул, — и в пир и в мир... все тут... В город итти, а дыра на дыре... Говорю бабе, хошь на живую нитку затяни... Да... Снял, а сам на печь... Часа три сидел, покуда она мне их в дело не произвела...

Все смеются, всем весело, а Деме ничуть не стыдно, а скорее радостно. Ведь он хорошо знает, что все это тяжелое прошлое теперь уходит, а раз так, почему над собой не пошутить? А эти же самые люди, которые теперь над его заплатами смеются, встретят в другом положении, сразу к нему по-другому отнесутся и про себя подумают:

«А ведь как раньше-то колотырничал!..».

* * *

Двенадцать человек пильщиков вторую неделю на зверином положении.

Жили в берлоге, это Вася Дупель прозвал, а на самом деле — в сторожке, лет десять тому назад всеми покинутой. Стекол не было, рамы вывалились, и окна были наглухо досками заколочены. Печь развалилась, и когда начинали топить, чтобы сварить картошки, отворяли дверь. Дым стелился по всей избе и густыми клубами валил в дверь.

Две недели проходило, хлеб, привезенный с собой, убывал, а картошка вся померзла. Хуже всего — баб не было — некому чинить варежки и все почти пильщики работали в голышках.

Стали подумывать, что не мешало бы побывать в деревне:

— В бане помыться, — первый Фомин начал:— вошь появилась...

— Вошь это ладно, без варежек руки зазнобил...

— Харчи тоже... Без хлёбова, што ни говори, во рту отбилось...

Баюнов хотел шуточкой отделаться, чтобы только пильщиков дня на два, на три в роще задержать. Главное, только по-настоящему дело пошло. В десять суток по его счету чуть не пять рублей в день на человека выгнали, надо хошь до двух недель дотянуть.

— Игоху не вошь гонит, а баба молодая... Это нам хорошо известно... О бабе затужил...

— Не мудрено, мужик молодой, тянет, — Дупель оправдывает. Только Игоха не сдается и чтобы на таком деле не уличили побожиться не прочь, что:

— Баба-то? Да мне ее хошь бы век не было...

— Это, брат, только теперь вымотались, а покорми тебя как следует да выспаться дай...

Об этом и Фомин не спорит:

— На што-нибудь женили человека...

— А в деревне побывать надо.—Теперь уж все заодно.

— Итти, так итти... Стаскаем бревна, а в ночь и пойдем...

Весь день таскали бревна поближе к просеке... Сперва очищали от снега дерево, потом захлестывали веревкой и дружно принимались тянуть в намеченную сторону. По всей просеке лежали скатанные бревна, некоторые густо покрыты снегом, другие ярко зевали красными боками.

Раза два к пильщикам приезжал Яков Мысеич, ходил по работе, глядел пеньки: не высоко ли

срезаны, глядел сердцевину, не трухлявые ли, и заметно оставался довольным, но с Демой, старшим в артели, говорил мало, и больше обращался к Андрею Короткову, если приходилось о чем спрашивать.

В деревне «зимогоров» встретили по-разному: бабы обрадовались мужьям, детишки отцам, а соседи, не попавшие в артель — с скрытой завистью и насмешкой:

— Думали с деньгами и домой не вернетесь, а нет потянуло...

— Не получали ни сразу, — Дупель словно сердится. — Говорим «хозяину», ступай, деньги вот как нужны, праздник на носу...

— Ты Василий зря все... Русским языком сказано — отчетность, погоди до Нового года...

— Ты бы не пил, не ел до Нового года, — Дупель огрызается. — Ты за старшего, говори, что мы за зря что ли? Свое заработанное...

Фомин тоже не прочь перехватить, хочется бабе новую одежину справить, «а то чорт бы его в рощу погнал».

С общего согласия Деме подводу отрядили и в город отправили:

— Хлопочи, чтобы деньги беспременно...

Яков Мысеич на отрез отказался ордер подписать:

— Не надо браться было, если кишка тонка... Вы и то затянули, другие бы в два раза больше сделали...

Дема не знает, кто это «другие», только едва ли кто против его артели устоит!

— Ни день ни ночь покоя не видели, из последних жил тянулись...

Дело дошло до председателя. Видно и тому не по губе, а все-таки половину выдать распорядился.

Артель обиделась:

— Свое заработанное... Какая это работа? Плюнем и не пойдем...

— Дема? Деме что, он, може, на себя все стребовал, а мы жди...

Дупель и тут умолчал:

— Варюхе вон какой платок привез, себе валенки, детям тоже обновки... видно, своя рубаха ближе... Дема-то, он не промахнется...

— А что он без нас сделает?.. Откажемся, суньсь, поди...

Праздник решили в деревне провести. Фомин к теще в гости ушел, Дупеля Феклист на целую неделю к себе на постоялый подрядил, каждого что-нибудь в деревне держит, только Дема ждет не дождется, когда мужики соберутся. На другой день Нового года пошел артель собирать. К тому, к другому толкнется, все «не время, да недосуг».

— Погоди уж после Крещенья двинем...

— До Крещенья пять дней осталось, а за эти дни сколько бы лесу свалили!

— Чуть не две недели празднуем, — Дема пеняет. — Такое ли время... Как хотите, а по-моему ехать надо...

— Легко сказать ехать, а с чем ты поедешь — ничего не приготовлено: Фомин от тещи не вернулся, Дупель у Феклиста задержался, у Короткого баба не успела варежки починить. Что ты будешь делать?

Вернулся Дема домой, с чего начать, не знает. Правда, в договоре, к которому в вике печать приложили, прямо сказано: «если кто самовольно артель оставит, на их место разрешается других взять», а кого ты возьмешь? Не больно охотятся. Рад ли, нет ли Дема, когда Данило с робятами ночевать попросились.

— Четыре с полтиной на троих грянули, — жалуется. — Всю округу обошли, нет и нет...

— Я тебе говорил, — Дема опять напомнил: — все в город шерсть везут... Что вы там, робяты, проходите вперед...

Колька ноги вытер варежкой и под окошком на скамью сел, а Кирька и совсем валенки сбросил и тоже рядом с отцом сел.

— Вот это зря, — Дема заметил. — Ноги застудишь...

— Наплевать, — Кирька смеется и под носом рукавом вытер.

— Больно полом несет, — Варвара пожаловалась и с печи худые валенки бросила. — Надень, сударик, тепленькие...

Покуда про Данилову нужду говорили, у Варвары самовар вскипел. Стали за стол садиться, отец сыновей подбадривает:

— А вы садитесь, коли потчуют, приведет бог и сами не спрячемся...

— Есть о чем говорить, — Дема удивляется. — Ежели бы у меня не было. Садись Коляк, а ты, Кирюшка, двигайсь к Варюхе ближе, она любит вашего брата... Сколько тебе?

— Скоро пятнадцатый пойдет...

— Скорехонько,—отец улыбнулся:—полгода не больше подождать придется...

Дема сперва гостям не больно обрадовался, только вида не показал, а когда за стол сели и начали кипяток глушить, все как рукой сняло:

— Пусть попьют, вон как Кирюшка хварыздает...

Пили всласть, что говорится. Данило было свой каравай выложил, так на него Варвара рукой замахала:

— Что это? Словно у нас нет... Вон пекушки... Зачерствели, да ведь у них зубы-то молодые... Ешьте...

— Дай бог добро здоровье,—Данило говорит.— Измаялись... Целый месяц все в чужих людях...

Стал Дему расспрашивать, как у него дело идет.

— Отказываются? Вот оно что значит заелись... Другие бы с радостью...

— Так вот, чего еще, подваливай, — Дема зовет.

— Сделай милость, хошь сейчас, — Данило обрадовался. — Дома побываем и не откажи...

У Демы с души словно камень свалился. Уговорились не мешкать, а как только управятся и за работу возьмутся.

На другой день из всей артели пошли только шестеро, Дема седьмой, остальных не поймешь, не то на время остались, не то совсем бросили. Пошли только те, которым до зареза нужда приступила.

Теперь работали не так дружно и спорыньи той не стало. Начали друг на друга ссылаться и все глядят, как бы больше другого не сделать.

Один раз дело до того дошло, что работу бросай, а Ванька Тумак к Деме с кулаками к рылу:

— Отдай нам, что полагается, и кляп с тобой... Работай один... подрядчик тоже!

Неизвестно, на чем бы дело вскрылось, только в берлогу новые люди пришли.

— Обогреться пустите, — Данило еще с порога крикнул, а за ним Колька с мешком, Кирька под корзиной гнется. Взошли — мороза напустили, вплоть до передних окон белые клубы заходили.

— Того гляди нагреешься, — Дупель матом кроет. — Живем хуже зверя кажного...

— А вы проходите, — Дема зовет и только сейчас заметил, что за Даниловой спиной кто-то еще прячется.

— Это мы Саньку взяли, — Данило объясняет. — Поможешь, говорим, нести, а завтра убежишь по морозцу...

— Проходите, проходите — всем места хватит...

При бабе немножко нахохлились, всем точно теснее стало. Данило с семейством норовит в щелку забиться, чтобы только другим не мешать, да разве такую ораву спрячешь. Сложили мешки возле печки и сами на них сели.

— А ты не жмись, — Дема ободривает, — садись на скамейку, все-таки потеплее...

— Благодарим покорно, мы и здесь не озябнем... Санька, а ты бы на печке погрелась, — Данило дочери говорит.

— Кирька, поди, — Санька братишку посылает.

— Ну тебя, — Кирька на сестру обиделся.

И в самом деле, что он маленький? Скоро пятнадцать годов, вот с мужиками в рощу взяли, а они все его за робенка считают. Очень на Саньку рассердился. Зачем только взяли такую, сидела бы дома, а все отец виноват.

— Что же, — Баюнов не унимается, — гостей хошь чайком что ли?

— Какой чай, — Данило отмахивается. — Вот отдохнем малость, да и спать... Поди, рано встаете...

— После блинов, — Тумак из угла язвит, — не торопясь, с прохладцем...

— Вона што, — Данило понял, — какой здесь народ собрался... Слышишь, Кирька, все равно што у праздника...

Кирька с Колькой переглянулись, и каждый понял, что другому сказать хотел:

«Народ, мол, забавный, что дальше будет».

Данилу трудно, чем обескуражить. За свою жизнь повидал всякого, а что Тумак огрызается, это пройдет. Работа, она не мать-родильница, из любого человека зверя сделает, ежели через силу. Все хорошо в «плепорцию».

Пригляделись мужики, стали с Данилом поласковее. Обсудили, где девку положить, чтобы кто по нечаянности в рыло лаптем не заехал, а Кирьке и другие советуют к Тимохе на печку лезть.

— Да вы не больно об нас, — Даниле даже совестно. — Народ мы привышный, где бы только голову приклонить...

Огонь погасили — всяким разговорам конец, тут одно требуется — уснуть поскорее, чтобы завтра полегче всталось.

Санька долго уснуть не могла, больно ей в берлоге не полюбилось: и грязь, и копоть, и народ угрюмый, только еще Дема хорош, а то беда бы. Больше всего ей Кирьку жаль. Как он тут останется. С работы вернется, кто ему онучи просушит, варежки починит? Отец с Колькой сами в рассудке, а ведь этот совсем мальчишко, только ерепенится!

Всех жалко: и отца, и братьев, и мужиков, которых нужда в эту берлогу загнала. А себя-то разве не жалко! Раздумалась—хоть плакать в пору.

Утром ранехонько мужики поднялись. Начали поодиночке на улицу выходить. Данило с Демой задержались.

— Ты Санюшка, как ободняет, так и ступай, а на той неделе опять загляни...

Санька на полу привстала, никак не поймет, о чем ей отец приказывает. Проводила мужиков, а сама опять между мешков повалилась.

В роще Даниле с ребятами отдельную платуху отвели. Рассказали, что лес не подряд валить, а только то дерево, на котором залысина. У Данилы ребяты ждут не дождутся, когда можно за дело приняться, а отец все еще с Демой о чем-то толкуют.

— Ничего, он только спервака такой, а потом обшамкается, — Дема на счет Тумака говорит: — а ты не гляди, работай и работай...

— Ну-ко, робяты, принимайсь с богом... Ты, Кирюшка, не больно, целый день впереди... Упрыгаешься...

Сначала так наметили: отец с Колькой — валить, а Кирька чистить. Потом у Данилы в спине хряснуло, Кирька за пилу взялся. До обеда поработали — у костра обедать собрались. Подошли молча, у костра сели не ради согревы, а так уж ряд отвести. Кто сколько свалил, не спрашивали, да и неловко как-то. В артельном деле не гонись, что кто меньше твоего сделал.

Обед не ахти какой: хлеб, картошка, а кое-кто из деревни убоинки захватил. Рабочему человеку без хлёбова никак нельзя, а что ты сделаешь — в сухомятку приходится. К вечеру, как и всегда, Дему пораньше отпустили, чтобы печь растопил, да чугун картошки сварил. После сухого-то хлеба и то уж разносол. Пошел Дема и возле Данилы задержался. Любуется, как Колька с Кирькой по сугробам прыгают, как это у них работа спорится, и каких ему хороших работников бог послал.

— А вы, робяты, не больно... За людьми успеете...

— Это они в охотку, — Данило на ребят радуется. — И то сказать — народ молодой...

— Пойду ужин готовить, — Дема смеется. — Подольше поживешь, во всех шкурах побываешь... Теперь вот кухарем заделался...

Дема к берлоге подошел. Что такое? Из трубы дым валит, а дверь не отворена. Дверь размахнул, глазам не верит: мешки в порядочке возле стены уложены, пол словно зеркало светится, а Санька, с подоткнутым подолом, что-то возле чугуна делает. На Дему оглянулась и опять за свое.

— Ты што это, — Дема смеется и на пол показывает.

— Вымыла, што!.. У вас одной грязи — не пролезешь...

— А печка-то? Ведь у нас бывало дымом подавишься...

— Надо бы... У вас в трубе-то чего только не было, а поглядеть-то не догадались.

— Ах ты, сделай милость, — Дема на Саньку любуется. — Вот оно что значит бабьи-то руки...

Саньке смешно и любо, что Баюнов ее работу хвалит.

— Сколько у вас я этой грязи выгребла, — Санька большим пальцем волосы под платок заправила и Деме в глаза поглядела. — А печка? Совсем — по черному...

— В трубе что-то... Лазили, ничего не видно...

— Я оттуда целый ворох глины вытаскала... Вот, — на печку показала, — топится и дыма нет...

Нет, Деме просто не верится, что вот эта Санька первый раз порог переступила и сразу все непорядки увидала, а их двенадцать человек покружились, покружились, и руки опустили:

— Берлога, мол, берлога и есть, ничего ты с ней не сделаешь...

А она, гляди-ко: и печка топится, и пол чистый, и под скамейку чурак подставлен, и стол бело-на-бело вымыт.

— Ты бы у нас погостила, Саня! — Баюнов приглашает: — немножко бы нас в дело произвела...

— Нынче и то опоздала... До утра останусь... У вас как картошка-то, лупите, али в мундирах?

— В мундирах, где тут лупленной на такую артель...

— А я налупила, в печи томится...

— Кашу маслом не испортишь, — Дема смеется, а сам оглядывается, что бы ему сделать, да у Саньки все переделано.

— Уж больно вы, мужики, к этому делу не сручны, — Санька пеняет. — Валяетесь, как придется, а нет, чтобы нары сколотить... На чердаке шесть досок — во! Санька на пол-аршина руки развела.

— Да все вот никак еще не оглядимся...

— За три-то недели?..

Из рощи вернулись, Санька чугун на стол, ложки подала, а сама у печки стала и на работничков любуется. Данило сперва удивился, что Санька в деревню не ушла, а как оглянулся в берлоге, сразу понял:

— У меня Саньку хлебом не корми, только бы работы досыта...

Парнишки за стол сели, все на Саньку поглядывают. Кирька уж вот как этих баб не любит, а сейчас ничего, при Саньке как-то повеселее в берлоге кажется.

Мужики тоже не умолчали и каждый по-своему Саньку хвалить начали.

— У каждого свое дарование, — Балявин говорит: — у другой хозяйки к светлому дню в избе чорт ногу переломит, а другая и бедность и работы много, а все в избе как в горнице...

Покуда мужики томленую картошку ели, Санька у своих варежки переглядела. У порога выколотила и в печурку сушить положила.

Полюбилось Даниле, что его девчонку народ хвалит, шепнул тихонько:

— Погости денек... Небольшое заделье и дома-то...

— Мне все равно, — Санька ответила и стала со стола убирать.

Тумак, какой человек вредный, а из-за стола вылез, тянется, а сам на Данилу смотрит:

— И натрескался, словно у тещи...

— На добро здоровье, — Данило говорит.—Оно, как потуже набьешь, прочнее как-то...

— Уж это как есть...

Весь этот вечер не ругались, не спорили. Спать легли и тепло и чисто. Утром поднялись, у всех варежки и онучи сухие. Нет, что ни говори, а без бабьего естества мужику нипочем не прожить. Вот их теперь двенадцать человек, а девченка одна, и как она сразу всем руки развязала.

На другой день стали поговаривать, как бы Саньку совсем оставить. Дома у нее все одно делать нечего: корова без молока, ближе Благовещенья не отелится, а корму даст тетка Прасковья. Нет, Саньке лучше всего на артель стряпать остаться.

— Скушно будет, человек молодой, — Балявин пожалел.

— Кака скука? — Данило не согласен. — Саня, останешься?

— Конешно, останусь...

— Вот и спелись, — Баюнов обрадовался. — Теперь Коляк с Кирюшкой катайте за продухтами... Хозяйка есть... В чем дело?..

Перед самой масляной эс-эн-ха вроде комиссии прислал работу артели обследовать. Три человека с Яковом Мысеичем. Те двое народ незнакомый, слушают, что Яков Мысеич скажет, а Яков Мы-

сеич видимо не больно работой доволен, все нет, нет да Дему припрет: то пеньки высоки оставляют, то мало сделано, то просеку завалил — подъезда нет.

Дема тоже не молчит, оправдывается, а тот еще больше напирает.

Уезжать стали, Яков Мысеич прямо говорит:

— До весны вам норму не выполнить. Это по делу видно...

— Как это? — Дема не соглашается. — Нас десять человек, у меня все до бабочки рассчитано...

— Плохо считаешь, видно,—Яков Мысеич говорит. — Как ты ни вертись, ничего не выйдет... Или народу прибавь, или выработку повысить...

— И то уж изо всех жил лезем,—Тумак поперечил. — Повысить, вы бы там вот на счет расценка... Совсем задаром работаем...

А тот смеется только:

— Кому дешево, ищи дороже, а рабочих рук сколько хочешь...

Дема насчет денег помянул:

— Масленица, никак нельзя... Артель требует...

— Это уж не со мной... Что следует, получите...

Дня через три Дему в город снарядили, чтобы рассказать кому следует, какая работа каторжная и как православным деньги нужны.

* * *

На этот раз председатель Дему по другому встретил. Прежде всего:

— Что это у тебя все склока да жалобы...

— Спаси бог, у меня все как следует...

— Николай Евгеньич! — председатель секретаря позвал: — Где эта бумажка, которую вик прислал?

— Сию минуту, — секретарь метнулся и сейчас же обратно идет.

— Вот... по жалобе крестьян деревни Мызина?

— Она самая... Больше ничего,— на секретаря поглядел.

— Это напраслина, — Дема из себя выходит, когда ему председатель бумажку прочитал: — что Фомину, что Дупелю все до копеечки... А что я в артель других принимаю, так нужда заставила... Я им как говорил — работать надо, а не гульки строить... так нет, один к теще, другой к Феклисту на работу напросился...

— Вот как хочешь, жалуются... Не додал и все такое... Денег? Нет, насчет этого погодить нужно. Главное, отчетности не представил...

Дема волком взвыл:

— Товарищ Корочкин, у меня последний народ уйдет, ежели теперь, скажем, их деньгами не ублаготворить... Главное, дни такие...

— Как ты там хочешь, это дело не наше... Представь отчет, сколько свалено, сколько получено, кому выдано, без этого не получишь...

— Сорок верст плюхать? Товарищ Корочкин. Дело станет!..

— Не могу, Баюнов... Заключение комиссии...

— Што там камиссия!.. Камиссия дело ваше, а нам деньги, как перед богом — вот как! — Дема себе по горлу ладонью полыснул: — до зарезу, как говорится...

— Пуговкин тоже недоволен. Хочет жаловаться, что строительная комиссия никаких мер не принимает. .

Видит Дема, что все против него. Вот хошь этот Пуговкин, что он ему, дорогу перешел или что? Нет, уж видно беднякам ни в какое дело не суйся. Их вот теперь десять человек вокруг этого

кормится, а в работе откажут, куда деться? Хуже всего Дему мучает, что Данила втянул и Саньку теперь.

Саньку ему было особенно жалко. Отец ей и то бывало:

— Вали, вали, Санька, до поста дотянем—новый кеп купим...

— Вот тебе и кеп, — Дема раздумывает. — Посередь зимы распрягут, куска хлеба не добудешь...

Вышел Дема за город, в свою сторону глаза бы не глядели: с чем в артель явиться? Какими глазами на товарищей глядеть? А Тумак, он не попрандует: матом и с ножом к горлу — «давай, знать, не знаю».

Да и другие не умолчат. Первым делом упрекать станут, что не за свое дело взялся:

— В таком деле и то котелок не сварил...

— Зачем и браться такому...

А Данило будет слушать и тоже подумает:

«На язык-то вострый, а как на дело, так и спятил»...

А что Санька подумает? Бывало все — «Дементий Парфеныч, Дементий Парфеныч».

— Вот тебе и Дементий Парфеныч!— У Демы что-то в груди повернулось.

Про Варвару ему и думать не хочется. Что Варваре?

«Живет, хлеб жует — муж обо всем одумает... Ребята? Ну что же? Напились, наелись и кончено... Пока за отцом, за матерью»...

Стал высчитывать: «если, не дай бог, от работы откажут», на долго ли его потрохов хватит. И так и этак раскидывал, а до поста не дотянет. Главное, на первых порах широко пустили: одежонку справили, два воза сена прикупили, праздник справили, а теперь вот хошь зубы на полку.

«Не может быть... Не откажут, може пострашать только...».

В Ремешках ему опять заночевать пришлось, а как не хотелось! В прошлый раз он больно там язык развязал, не хвалился, а только с радости с хозяином поговорил, как, мол, бедствовал, а теперь вот поправляемся.

— Из кулька в рогожку, — даже обругал себя, и дал слово вперед быть умнее.

Чаю он и сейчас заказал, только ни с кем в разговор не втягивается — пьет и пьет, чайник за чайником кипятку требует. Хозяин и то заметил:

— С похмелья што ли?..

— Како похмелье! — Дема оправдывается. — Утром селедочки закусил...

Не успел он с чаем покончить, как Петруха Кокин нагрянул. Тулуп на-распашку, шапка на затылке, полушубок красным кушаком подпоясан. Рукавиц не снял, шапку не ломает и на святых не крестится:

— Чаю, яишницу на сковородке, два прибора...

Дему заметил:

— Товарищ Баюнов, мое почтение...

— Здраствуй, — Дема в задор не лезет, а все-то на пьяное рыло глядеть не хочется. Уж больно оно у него неприглядно. Не урод, конечно, такие ли уроды бывают! А так, что-то Деме не приглянулось. Красный весь, борода рыжая, веснушки и зимой не проходят, весь лоб и щеки по самые глаза, вот эти глаза особенно Деме не нравятся: синие в пришурку и будто всего тебя вплоть до подоплеки шарят.

— Из города? — Петруху спрашивает, чтобы только вида не показать, что на его рыло глядеть не хочется.

— Пуговкина отвез, — Петруха говорит и тулуп скинул.

Пока для него яишницу готовили, все с захожими разговаривал. Жаловался, что жить тяжело, что не откуда стало копейки добыть. И какое для ихова брата в деревне утеснение...

— Вот он, — на Дему показал, — из одного места со мной, приятели, можно сказать, а все-таки ядом и дышит...

— С чего это мне? — Дема не соглашается. — Зря это ты...

— Эх, Дементий! — Петруха укоряет: — разве нам это не видно?.. Вы бы нашего брата в расщеп посадили... Да... только руки коротки, — и проезжим мужикам подмигнул.

Видит Дема, что Петруха не иначе хочет скандал затереть, лучше в задор не входить да отойти от чорта:

— Делить-то нам с тобой нечего, пра, ей богу, а то расщеп, расщеп...

— Баюнов, ты не обижайся, я с тобой по-хорошему... Иди, садись со мной, — и по скамейке подвинулся, чтобы Деме места хватило, — что «спасибо», садись знай... Куском нас не обидишь... Мы любим с народом по-приятельски...

Подумал и сел Дема:

«Хуже не будет. Все одно, дело пропащее...».

У Петрухи бутылка водки в кармане. Себе налил и Деме — целый стакан. Выпили, стали яичницей закусывать:

— Пивка бы недурно! — Кокин хватился. — Терехин! — хозяина позвал: — добудь, сделай милость!..

— Нет, как перед истинным... Рази бы для такого человека, господи!

Покуда Петруха с хозяином торговались, у Демы в груди потеплело и в голове некоторое прояснение. Думает о своем, а краешком и за их разговором наблюдает — добудет пива Кокин или сорвется? Главное, теперь и Дема ломаться не станет. Выпить когда ему случается — в год раз. А теперь вот стаканчик пропустил, и другое дело, все по другому кажется.

— Ну-ко, Дема, порешим остаточки,— Петруха по стаканам разлил и для пущей важности бутылку пожал, дескать, капельки не осталось. Яичницы нехватило, колбасы потребовал.

— Пуговкин, говоришь? Пуговкин—человек деловой, он не то, что другие товарищи, а прямо— «Хошь чорт, только бы свое дело знал»... С этим человеком не пропадешь...

Дема Пуговкина тоже не хаит, только одного не понимает, за что он на их артель взъелся:

— Работаем, что надо! А он там Короч-кину...

— Брось, Дема, пей!

Опять выпили. Хозяи на стол большой чайник поставил. Петруха крышу поднял и носом в чайник ткнулся:

— Вот это по-нашему, — Деме подмигнул,—а то нет, да боязно... Чего тут, деньги дают, не отказывайсь...

После пива у Демы и руки и ноги отяжелели, язык заплетаться начал, а разговора этого конца края нет. Правда, оба они каждый свое говорили и плохо друг друга слушали, а все-таки, чтобы мимо ушей пропускать, этого не хотелось. Деме особенно, главное, Петруха угощает.

— Работа? Что про это говорить, работать можно, особенно, если народ дружный. В день можно пятерку забить...

Дема ничего от Петрухи не скрыл, всю подноготную выложил. Рассказал, как комиссия наезжала, как Яков Мысеич сердился и как председатель Корочкин ему в деньгах отказал. Теперь бы Петрухе не только рассказывал, а точно на весь белый свет жаловался. Петруха ему теперь ближе всех, удивительно как это он раньше не замечал, что Кокин такой человек душевный!

Вот хошь это самого председателя взять. Что ты про него плохого скажешь, а ведь нет того, чтобы в душу тебе заглянуть: «не могу и не могу», вот и разговор весь. А Петруха? Этот не только с тобой — по-приятельски, а для тебя ничего не жалеет. Сколько этих чайников с пивом перетаскали, и все на его счет.

Хозяин для них маленькую комнатушку освободил и обоим «под-одно» соломы настлал:

— Ложитесь, — говорит, — уснете не услышитесь...

Петруха раздеваться начал, а Деме еще на двор захотелось. Вышел под навес, прислушался. Рядом где-то корова пыхтит, слышит, как лошади овес жуют, а какая-то овца все чихнет да чихнет.

— Что же это Петруха домой не уехал... Ведь он на лошади...

В голове у Демы кружить начало. Облокотился на прясло и глаза зажмурил. Не впрок Петрухино угощенье пошло, вот как хлестать начало, думается, все нутро выворотит.

— Ты что это там? — Петруха пеняет. — Ждал, ждал, думаю, не домой ли ушел...

Дема только рукой махнул:

— Мутит что-то...

Петруха на соломе развалился и брюхо чешет:

— Какой ты есть человек! Много ли тебе надо?..

— Не часто приходится, — Дема трезветь начал и с брезготой на Петрукино брюхо поглядел. Брюхо белое и тоже в коричневых крапинках.

— Ну и хобот у дьявола, — от брюха глаза отвел.

Рядом лег и за голову руки закинул.

— Погасить, что ли? — Петруха на лампочку показал и, ответа не дождавшись, к столу подошел. В рубахе Петруха еще дюжее. Спина как у мерина, штаны одной рукой подхватил, а с одной стороны все-таки спали, красное мясо видно.

— Вот и тогда так, — Деме старое припомнилось, когда он его от Варюхи оттаскивал.

Всю ночь у Демы в голове словно цепами молотили. К утру знобить начало. Спал некрепко, просыпался то и дело, рад ли, нет ли, когда утром стал народ подниматься.

— Поскорее бы на волю выбраться...

Заплатил что следует и с хозяином попрощался.

На морозе голове полегче, только вчерашние думы еще крепче вцепились. Теперь еще страшнее стало, как он без денег в артель покажется?

Возле Трухачева ему бы надо прямо в рощу своротить, а он левее забрал, чтобы в Мызине Варвару проведать. Варвара ему не больно с медом, особенно, как про Петруху вспомнит, только надо же детишек навестить, а главное хошь на денек от артели глаза скрыть.

В Мызине все по-старому. Работы нет, мужики баклуши бьют. Узнали, что Дема вернулся, все тот да другой забегут на минуточку, только ни Фомин, ни Дупель глаз не показывают.

— Работа есть, я не отказываю, — Дема каждому говорит, кто только в рощу попросится: — надо вот собранье устроить... Без согласья артели мне тоже нельзя...

В своей деревне ему ни перед кем признаваться не охота, что не нынче, завтра ему самому перо вставят.

— Нет, работа идет, как следует... В деньгах не стесняют... Главное — от себя все. Ежели подружнее, конечно, начальство само увидит...

В этот день, покуда он в Мызине пробыл, перед ним вся жизнь, как на блюдце прокатилась. Год за годом — как только стал себя помнить — все перед ним прошло, а особенно четко, когда он на фронте с басмачами дрался.

Был у них комбриг Потапов, который с Демой словно брат родной. Лежат, бывало, когда на позиции тихо, и про «рассейскую» жизнь рассуждают. Как это наш народ по-новому зажил и что из этого дальше выйдет. Комбриг Потапов говорить не больно охотник, все больше про себя думал и какими-то выкладками занимался. С Демой он по-душевному — про хозяйство, про семейное положение. Бывало, целую ночь проговорят и только на свету заснут, зато целый день у Демы в голове какая-то радость стоит. Вспоминает, что ему Потапов про будущее житье говорил, какие наши дети счастливые будут, какой у них достаток заведется и как все будут за один гуж тянуть, чтобы пролетарское государство на ноги поставить. Все эти разговоры с Потаповым и сейчас у Баюнова в голове живут и даже в такое время, когда ему на свет божий глядеть не хочется.

— У тебя, Баюнов, душа открытая, — это он ему в последнюю ночь перед боем говорил. — С твоей простотой тебя каждый мерзавец обратает... По нашему времени, надо волчьи зубы иметь... советская власть за каждым не углядит.. ладонкой от подлеца не закроет, каждый должен свое право защищать...

С тех пор не видались больше — застрелился, когда их басмачи окружили. Деме с политруком убежать удалось, а остальных всех до одного уложили.

Вспомнил Потапова, словно на улице посветлее стало. На Варвару поглядел — и она пригляднее, ребята тоже ласковее сделались.

— Без тебя мясник приходил, — Варвара только сейчас свои новости мужу сказала. — Слышал, говорит, корову менять будете .. Будем-то будем, да как Дементий скажет, без него, мол, я не распоряжусь. . .

Дему словно ветром подняло, как это ему раньше в голову не пришло! Корова все одно без молока, только корм гатит, а с делами справимся, к Пасхе молодую купим. . .

— Поди-ко позови, Варвара .. Все одно менять придется.

«Что за Варвара, молодец! — Дема про себя подумал: — как это все кстати вышло. . . Корова на худой конец шесть червей вытянет, а на первое время, вот и оборот!.. Главное, только бы не с пустым руками в артель явиться. Стыдновато своих деревенских, скажут: вот, мол, как — последнюю коровенку за рога. . . Ну да ведь это можно как-нибудь поаккуратнее, без огласка. . . Придет вечерком и уведит, ни одна душа не узнает. . .».

Мясник особенно Дему не прижимал и в цене не скупился. По деревням свадьбы справляли, а своя убоина не у каждого, то и дело приходят — мне пудик, мне полтора, а которы посправнее и по три берут.

Получил Дема шесть червей с половиной, пятерку Варваре на расход, а остальные в рощу понес. Разделили на всех поровну. Не обошлось без того, чтобы на Дему не попенять:

— Какие это деньги? У нас за казной не столько...

— За казной не пропадет, — Дема пильщиков утешает: — а по-моему еще целее будут...

— Нам не в банку класть, — Тумак не соглашается: — а что в рот, то и спасибо...

— Потерпеть надо .. На той неделе опять поеду...

Данило с ребятами еще веселее заходил. У Саньки чугуны веселее запели. К Дементию Парфенычу особое уважение. Деме даже как-то неловко. Из рощи вернется, не успеет глазом моргнуть, а уж у него варежки в печурке, пинжак на печи сушится, потом уж и своих обиходит. Правда, Санька за всеми прибирает, а все-таки за Демой охотнее.

«Уродится же такой человек золотой», — Дема про Саньку подумает, и потом целый вечер с нее глаз не спускает, как это она по избе ходит, какие у нее руки развязные и как у нее всякое дело спорится. К чему ни подойдет, за что ни возьмется, все как на воде тает, или у нее на руках перчатки бархатные. Да и вся она сама такая гибкая. Другой наклониться понадобится, всю ее кочергой согнет, а Санька нагнется, и не заметишь как, вся она — кольчиком и опять тихо да плавно по избе плавает.

А в лицо поглядеть: не лицо, а солнышко! На мужичьем харчу в две недели поправилась, щеки как нахлыстанные.

Лучше не глядеть на такую. Дема до баб никогда падок не был, он и о Саньке ничего дурного не думает, а как-то весело глядеть, когда возле тебя такая здоровая девка ходит.

В разговоре Санька не больно отважна, другой раз так Тумака обрежет, когда тот облапить вздумает.

мает, что за нее стыдно, а она уж забыла и его же онучи на веревке растягивает.

— Уж больно, дьяволы, до баб-то охочи,— только поворчит, бывало, а мужики в один голос:

— Верно, верно, Саня! Нашему брату тоже не очунно!. Одна забота, кому бы заботать...

— Сначала вшей-то огребите... а там уж и на баб пяльтесь .. Дядя Иван, скидавай штаны, я их в печке выжарю... а то скребешься, как мерин шелудивый...

— Беда, сударка, заели проклятущие... верчусь, верчусь ночь-ноченски...

Тут же при всех и штаны спускать начал, а Санька стоит и руки в бока, дожидается. Иванова нагота что бабья мякоть Саньке, только поторапливает:

— А ты сучи, сучи ногами-то поварове... Что ты, как теленок на выгоне...

— Пошли ее к чорту, дядя Иван,— Кирька за Ивана вступился.— Больно языком-то трепать...

— А ты у меня молчи, пока по сусалам не двинула,— Санька на Кирьку улыбнулась и Ивана за рукав придержала, когда тот на одной ноге запрыгал, в штанине запутался.

— Ты ее не тронь, Киряк,— сам же Иван за Саньку:— она для нашего брата — мать родная, да!.. А поворчит, так это всякому доведись.— К мужикам повернулся, на грех рубашку натягивает, а потом с печки стал рассказывать, как у них один раз в артели тоже вот такой человек был.

* *
*

На Трех святителей Петруха Кокин к предвику заехал, того в волкоме не было, зачем-то к начмилиции позвали.

— Дождусь, — говорит, и начал тулуп распоясывать. Секретарь — свой человек, сколько лет волостным писарем был, когда еще Петрухин брат, Феклист, старшиной ходил. Народу не густо, с хорошим всегда поговорить охота.

— Слышал, опять комбеды?..

— Ничего подобного, — секретарь смеется.

— Как это... разве не слыхал? Опять беднота и организация...

— Это по другой структуре...

— По какой бы ни было, а опять нашего брата за гузно забарают...

— Ты, Петр Прокофьич, уж больно дрожек!.. Чуть что, «ах, за нашего брата принимаются». — Не в этом цель .. Тут сельское хозяйство поднимают...

— С кем поднимать, спрашивается, Фер Петрович, какой это народ? Они бы поближе к нам держались, прочнее бы вышло... Петр Аркадьич Столыпин не дурее их был, а что-то с нищими не ватажился. .

— Другое время, брат... Задачи не те...

— Вот теперь Баюнов... артель препоручили, как же, беднеющий, надо поддержку, и то и другое, а Баюнов потыркался туда, сюда, хвать — кишка тонка оказалась, народ разбежался, анженер сменить требует. Пуговкин жаловаться собирается, а препоручили бы нам с братом да и поглядели бы... Нет, где им, этим Баюновым: были нищета, так и останется. .

— Вон и предвик идет, — секретарь в окошко заглянул, — и сам начмилиции...

Кокин от стола отошел и за решетку, как проситель встал.

— Петру Прокофьичу,—предвик за ручку поздоровался: — что же ты стоишь, брат, проходи, места не просидишь...

— По делу, видишь, третьего дня собирался, може опоздано?.

— В чем дело?

— Как тебе сказать... и признаваться-то совестно...

— А ты не жмись, не бабу уговариваешь...

— Несчастье случилось... На прошлой неделе в город собрался и не по своему делу, а братан Феклист попросил: за патент деньги внес и к Якову Мысеичу зашел, тот и попросил меня на завод к Пуговкину деньжонок свести и денег-то не ахти много — семь червей всего на всего, и что бы ты думал — обобрали! Вот с места не сойти... В Рамешках в чайной ночевал, перед спаньем нарочно пощупал — тут ли? Тут, а утром хватился, хошь бы тебе што... Глаза лопни, своих было с трешницу и тех нет...

— А кто кроме тебя еще был? — волначмилиции спрашивает.

— Да все свои, почесь, ближняки, синоборские...

— А спал где?

— В боковушке хозяин нам двоим устелил...

— Второй кто?

— Дема Баюнов, мызинский...

— Как думаешь? — волнач на предвика поглядел.

— Словно не такой человек Баюнов...

— Поручиться нельзя... А ты, гражданин Кокин, подозрение ни на кого не имеешь?..

— Какое подозрение, в эдаком деле согрешить можно. Дементий, он — ничего, только уж больно на нужду жаловался, петля, говорит, без ножа зарезали, в комиссии деньги задержали...

Стали втроем обсуждать, как за это дело приняться и чтобы особенной огласки не вышло.

Предвик вспомнил, что на-днях от кого-то слышал, будто Дема деньги давал Фомину и Дупелю, откуда такие, ежели в комиссии получки не было?

— Что ни говорите, а по-моему Баюнова пощупать надо, — волнач настаивает.

Пощупать, так пощупать: ни предвик, ни Кокин с милицейским не спорят, ведь ежели рассудить, конечно, не святым духом деньги из кармана вылетели, а чья-нибудь лапа побывала.

У предвика жена именинница:

— Гостей не ждал, а милости просим, — Кокина и волнача зовет.

Кокина вот как горе убило, а отказаться не смеет:

— Не к лицу бы гоститься, да больно, понимаешь, на душе нагорело, главное — деньги чужие...

Саломея Сергевна тоже гостям рада.

— В кои-то веки собрались, ну, что это! Проходите, пожалуста .. За угощеньем дело не станет — чем богаты тем и рады.

Предвик человек бывалый, занять гостей разума хватит. В стару-то пору не только какого-нибудь учителишку или попа у себя в доме видал, а самого земского начальника, Лексея Николаича.

— И человек был! Дело прошлое, а вот теперь, кажется, никем не обижены, благодарить господа бога, я и новой властью доволен — а таких людей на редкость...

Волнач, чтобы хозяина не стеснять, сам себе некоторую вольность позволил:

— Надо правду сказать и тогда люди были...

— Еще какие! — Петруха обрадовался.

Саломея Сергевна все подливает да подливает, а разговор все гуще да гуще. От становых да земских «на наше начальство» перешли.

— Ведь вот, братец ты мой, что ты ни говори, кому чего не дано, хошь этих комиссаров взять.

Другой и пыхтит и тарахтит, а в рыло поглядишь, сразу молодца по сопле угадаешь... Так бы другой раз и сказал: да будет тебе дурака-то валять. Давно ли из-под кузова выбрался? а то начальство!..

— Это верно, Петр Прокофьич, — предвик согласился. — Настоящего-то нет, а форсу много.

Стали вспоминать, кто по Синеборью «из таких» в люди вышел.

— Пуговкин первый?..

— Ну, про этого говорить нечего, человек с рассудком...

— А что особенного?

— Работник, перво-на-перво, человек трезвой жизни, он еще при Керенском начал силу забирать, на моих глазах почти, — предвик хвалится.

Соломея Сергевна тоже его знала:

— Он тогда за нашей Дуськой вот как увивался, только мы без венца не соглашались...

— Говорят, из рабочих, — Кокин поинтересовался.

— Из самых настоящих,—волнач подтвердил.— В германскую войну добровольцем ушел... Вернулся в семнадцатом, вся грудь — во! Четыре Георгия...

— Слушок есть — не улипеть на заводе,— Кокин будто жалеючи.

— Мало ли чего зря болтают, — предвик сердится:—на-днях с ним разговаривал... Собирается на себя заготовку материалов взять, а ежели говорит по ихнему — до второго пришествия моста не построют...

— Это как есть, — Петруха соглашается.— Кому они плепоручают — Деме Баюнову, хуже-то не нашли?

— Тут, брат, тоже понять надо, беднота!..

— А мы, середняки, хошь нас с братом взять... Что бы мы хуже Демы дело сделали?

— Не в этом суть, там артель... Ты, Петруха, человек не глупый, а всей подноготной не понимаешь. Это, значит, бедноту обсоюзить... Да!..

— Умны больно... Я и то все слушаю: беднота, и то и се, и середняки, и кулаки, чего только не придумают, а ведь все впустую... Спорют с кем — середняк пойдет, с кулаком али с бедняком? Ах, вы, распротак вашу мать (ты, Сергевна, не взыщи), с кем, с кем? Да попытай, попробуй, пусть в один день середняка в гости бедняк и кулак позовут, к кому он пойдет? Вот и погляди... а то беднота, беднота! Кому она нужна, спрашивается?..

— Бросьте, робяты,—предвику взгрустнулось,— все политика да политика, так это все надоело, слушать не хочется... В волкоме голова от этого кругом пошла, да еще дома о том же, да провались она, окаянная, словно без этого жить нельзя...

— Правильно, — все в один голос.

— Уж и так живем, света не видим, — Петруха жалуется: — а тут ищо в капланье толковать... Где это ты такого снадобья добываешь? — на самогонку показывает.

— Ну вот, где, где! Что ты—двух по третьему,— в шутку на волнача подмигнул. — Хочешь, он тебя в мамент куда надо представит?..

Волнач, конечно, разве он шутку не понимает, а ежели по совести:

— Наша волость из рук вон: в Рамешках гонят, в Трухочеве гонят, в Мызине гонят, да что тут — по всему Синоборью...

— Производство большое, — Петруха подтвердил: — только я думаю государству от этого вреды нет...

Пили много, говорили еще больше, а не проговаривались. Каждый на другого думал: «а чорт его душу знает, ты слово-то скажешь не подумавши, а к тебе и придерутся». Особенно Петруха осторожен был. Это, что волнач, что предвик все-таки люди советские, и нашим и вашим работают. Перед выборами этого же предвика взять, как он перед православными хвостом вилял, а теперь не больно к мужикам склонен, все больше по инструкции. Ну и волнач тоже: уж какие были с Феклистом дружки-приятели, а раз застал у него на постоялом самогон пьют, хотел протокол составить, только еще Феклист человек такой, он тебе ничего не пожалеет, чтобы только дело до огласки не доводить.

Волнач домой поднялся, предвик посидеть уговаривает:

— Нельзя кампанью портить...

— Надо распорядиться насчет Баюнова...

— Днем не опоздано...

— Куй железо... Знаешь?..

— Оно правильно, — с этим и предвик согласен. — Мужик не из хитрых, а концы схоронить может...

Петрухино дело сторона, как начальство рассудит, конечно, семь червей—деньги большие, да кабы свои, будь они прокляты, а то с какими глазами он к Якову Мысеичу покажется.

— Мне и Дему жалко... Главное, на какое дело пустился... Встаю утром, а Дема где, спрашиваю: «Ушел твой Дема ни свет, ни заря»... Ушел и ушел — ладно. Стал штаны натягивать, карман выворочен... Я за деньги, а их Митькой звали... Так и то, что бы вы думали, на Дему не подумал... Теперь, вестимо, дело, как вы на ум наставили и самому видно...

Петруха об этом уж раз пять говорил, а теперь снова поднял, чтобы приятели под пьяну руку не забыли.

После волнача и он собираться стал.

— Думаю на завод съездить. Товарищ Пуговкин работенки не даст ли... Теперь мое дело последню шкуру спустишь...

Саломея Сергевна велит хозяйке кланяться да погостить бы надумала.

— А то словно в лесу живем, ни ты в люди ни к тебе люди... Да и не к кому, что у нас за народ...

Петруха убедительно к себе приглашает:

— Слава тебе, господи, злые люди обижают, а все-таки добрых людей принять всегда найдется... Так вы уж не возгордитесь, милости просим во всякое время, а для Саломеи Сергевны у меня и гостинчик припасен.

Обещали на будущей неделе, зимнее дело — руки не связаны, сел да поехал. А на счет гостинчика, это напрасно — свои люди, разве возможно считаться.

* *
*

В берлоге по вечерам целое «приставление», как Кирька говорит. Устали, кажется, только до места довалиться, ан нет, чайку попили, картошечки с луком поели, глядишь, отошли. Тумак начинает над кем-нибудь зубы скалить, Балявин примется рассказывать, как он раньше с братом в Адесту на промысел хаживал и какого только народа не повидал.

Данило тоже не умолчит, ему ли порассказать не о чем.

— Всю эту нашу губернию вдоль и поперек искрещал... Вон Балявин говорит, что в Адесте

народа всякого... Что нам Адеста, когда мы в одной местности, а у каждой округи свои порядки да свычаи... Вот тебе Высока река, скажем, а что такое Высока река? В другом месте верст на десять и ручейка не сыщешь, а спроси первого встречного: Чей будешь? — С Высокой реки, скажет. Человека с Высокой реки хошь не спрашивай, сразу узнаешь, если с ним поговорить полчасика. Народ чивый, он тебе плюнуть и то все через плечо норовит. Да, не гляди, мол, что в лапти обуты, прежде лаковые ботинки нашивали, рубашку фантазию и часы, не часы...

— Это верно, — Балявин поддакнет. — Я сам оттуда, вот только война из колеи выбила, пришлось в Мызино к тестю уйти... Ну и народ стал не тот, что раньше был... Служил я до войны коридорным в номерах Гусева. Публика у нас была, что надо!.. Двугривенный али сорок копеек на чай — это в низкость считалось, а все больше рупь, трешница...

— Не даром про вас говорят: на обухе рожь молотите, — Кирька подзудит.

— А ты помолчал бы, консомолец, едрена мать, чего ты смыслишь?..

— Вот сволочь-та, — Кирька про себя сестру обругал. — Прозвала, теперь еще на улице дразнить станут...

— А до этого я в первеющей гостинице работал. Страсть какое доходное ремесло... Придет, бывало, жена из деревни. Ну, конечно, первым делом — на дворянскую половину, а тут ей — что угодно: суп жюльен, ножки фри, все на свете и топор... Глядит деревенщина и пошевелиться не смеет. Што ты, как баран на новые ворота? — скажешь, а она: уж больно стыдно, Прокофий Иваныч, ну-ко кругом люди-то какие!.. Ешь, ешь,

дура, люди тоже всякие бывают... Приведешь в свою каморку, а она и там трясется. Никак в голову не возьмет, что я все-таки ей мужем прихожусь... Главное, нас хозяин одевал чисто, и штобы это у кого борода небрита — спаси господи!..

— Все это правильно, — Данило Балявин поддерживает. — У них в стороне мальчишке десять лет, он в школе только еще азы учит, а его уж в город натрафили... года два в трактирах посуду моет, у пьяных гостей кошельки таскать приучается, а потом уж хозяин служить гостям допускает... Оттого там и народ разбитной, а что на язык — не язык, а бритва...

Дема слушает и за свое Синоборье обидно. Другой народ в Синоборье, да и местность не та: увал за увалом, река за рекой и все лес да лес до самого Мурома. Деревни и те все как-то по чудному называются: Трухачево, Мызино, Рамешки, Овчино, Кисельницы, да не просто Овчино, скажем, а Овцыно непременно, не Трухачево, а Трухацево. Дема человек тоже бывалый, всякого разговора наслушался, а вернулся домой да послушал, как Варвара с бабами разговаривает, прямо бы уши заткнул:

— Грибыты, ягодыты...

Да что говорить, всякого народа много.

— А вот, тоже Вальковщина,— Иван свое слово вставил: — только через реку от нас, а народ совсем отменный..

— Знаю и Вальковщину, — Данило и здесь бывал. — Тут народ не то, что на Высокой реке, али в Синоборье — московщики... Каждое лето, бывало, все деревни на выгреб — маляры, кровельщики... Дома старики да бабы управляются, а то все на сторону уходят...

— Ты вот, дядя Данило, везде походил, а как насчет крестьянского положения? — Баюнов поинтересовался.

— Как тебе сказать — по-разному... На Высокой реке хозяйства справные, главно городские подпирают, в Синоборье, сам знаешь — все только надо своим горбом брать, а Вальковщина там на хозяйство не больно-то... Денег из Москвы привезут, бывало, не лошадь, не корову огоревать, а скорее бы часы с цепочкой, дипламат на городской манер, а девкам, хошь лопни, а давай лису на бархате... Вот в Полях, там другое. Там, бывало, в каждом дворе две-три лошади, коровы, овцы, ну и земля ухожена — пшеницу родит... Народ там справный, девки красивые... Вот у меня Кирька подрастет, туда за невестой поедем, — отец парнишку по плечу ударил.

— Поди на фик да и с невестами-то, — Кирька рассердился:—что, все пристаете...

— Ты, Киряк, не ершись, без этого нельзя, — Тумак подхватил. — Годок-другой, а то сам к отцу приставать начнешь: «тятька, жениться хотца!».

— Болтай не дело-то, — Кирька еще больше сердится.

Колька, — он больше, этому тоже смешно и на старых не сердится, а что совсем не в перенос Кирьке, Санька и та зубы скалит.

— Посмей ишо, дам вот по рылу и будешь знать...

Дема за Саньку вступился:

— Она старшая, рази можно!.. Она тебе за мать приходится.

С Демой он ругаться не будет. Дема человек правильный, только обидно, что он тем не скажет, чтобы парнишку не дразнили... Его бы послушали.

Данило напомнил:

— Спать пора... Завтра возле сухого дола валить придется... Не сподрушно стаскивать... ямы да кочи...

— Дня на два, не больше, — Иван ободряет, — а там на гриву выберемся — гулянье, а не работа...

— А все говорят: у нас дело не выйдет, — Дема смеется. — К великому посту, приходи любоваться, хошь еще три комиссии присылай, комар носу не подточит...

— Деньги бы не задерживали, а за работой дело не станет...

Данило со двора вернулся:

— И хорошо, братцы: морозец небольшой, вызвездило, хошь хомута не снимай ..

— Две пряжки, значит?..

— Нет, все-таки уснуть не мешает..

Санька после всех укладывалась, хотела уж огонь гасить, как кто-то в дверь толкнулся:

— Кто там? — спросила, а сама отца будит:

— Пришел кто-то...

— Отопри, не бойся, чего ты?

— Дементий Парфенов здесь?

— Здесь, — Дема со скамьи поднялся.

— Бумажка тебе...

Дема через Кирьку перешагнул и к порогу пробрался. Читает: «Явиться немедленно», а куда явиться, сначала и в голову не взял, а потом опять к началу вернулся и в заголовке прочитал: «К судье III участка».

— Вот так штука! — на мужиков обернулся. — С роду не судился, а тут, пожалуйте... А когда? — милицейского спрашивает.

— Сейчас, со мной...

— Нельзя ли до завтрого... Дело такое, на нову делянку переходим...

— Нет, уж сейчас собирайся... Так приказано...

Дема стал одежину натягивать. Мужики головы подняли. Чудно как-то: только было все спать расположились, по-настоящему забыться не успели, а тут, на, сделай милость!..

— Ты, дядя Данило, в случае чего, пригляди пожалуйста, чтобы в чужую делянку не врезаться, а к обеду, наверно, я сам вернусь... Прощайте пока! Пойдем, товарищ...

— Ты бы поесть захватил, — Санька к столу метнулась и от целой ковриги горбушку отхватила.

— Надо ли? — Дема на пороге остановился. — А то давай на случай... Спасибо, Саня...

За пазуху хлеб спрятал и снаружи дверь поплотнее прихлопнул, чтобы в берлоге потеплее было.

Санька огонь погасила и в окно поглядела: идут по полянке, Дема впереди, милицейский сзади и что-то так ее больно за сердце ухватило:

— Дня-то им не было, ночью понадобилось, — на них попеняла.

II

Петруха Кокин не Дема Баюнов,—это тот, когда артель собирал, по дружкам да приятелем толкаться начал, а дружки у него такая же рвань, как и сам Дема, — Петруха в сельсовет пошел, так и так:

— Плепоручили народ собрать, которые желающие лес валить... У нас, чтобы все в открытую, кто хочешь... Не говори, что Кокины к себе мякишем воротят... Все как следует...

— Мне што, пускай, кому охота, — председательсовета не препятствует. — Нам все едино: ты ли, Дема ли. Только вот человека понапрасну в остроге томят...

— Ах, Миколай Ильич, через миня што ли? Да я бы по-своему, господь с ним, не пойман — не вор...

— Ладно, дело не мое... А когда тебе народ собрать?..

— Нынче бы, ежели возможно, а то как бы на суд не потребовали!.. Тут и то на меня робята пеняют... Все эти Тумаки, Данилки разные: «человека съел»... Как только у людей язык поворачивается... Так вечерком?.. Уж больно торопют... к полой воде штобы кончено...

На сход пришли и старый и малый, каждому хотелось до праздника поработать, а до праздника семь недель осталось. Пришли оба Кокины, Феклист и Петруха, Вася Дупель, их подголосок, Игоха Фомин, Семен Осокин, Иван Горячев, да все почти домохозяева на выгреб.

Спервоначала все кое о чем говорили. Семен Осокин человек правильный, много не говорил, а уж если что скажет, послушать есть чего. На него все хозяева уповали, конечно, не Кокины, не Антип Гущин, не Трофим Балакин — эти по своему характеру выше себя никого не ставили — возле Семена все середняк жался.

Кокины тоже себя в середняки ставили, да чорт ли им поверит. В городе, кто их знает: мужик и мужик, а в деревне, брат, никого не обманешь.

— Эти, что говорить! Нам за ними не угнаться... Вон теперь Дема в остроге, а Петрухе доверенность и всяка штука... А Демка! Да кто поверит, чтобы он на чужое польстился, да он тебя не возьмет, чем ты глядишь!..

— Вот што, православные, — Феклист к столу подошел. — Товарищ Пуговкин передать наказывал, чтобы, значит, два поля, которые на Репищах и на Матюкине, весной для мызинских... «Мы,

говорит, отказываемся, не под руками, главное, да и канитель надоела... Заводским они ни к чему, а вам, говорит, кстати...»

— Давно пора, — Осокин не удивился, — а то мытарют, мытарют...

— Оно, как сказать, Семен Андреич, ежели бы не добровольно, Пуговкин нипочем бы не уступил... Земотдел против его не пойдет, а нашему брату не сыскать ..

— Спасибо, што об этом говорить, только эти два поля с испокон века у мызинских ..

— Так вот, православные, Пуговкин не такой человек, нашего не хочет... На, ежели вам надо... За это мы сами должны соответствовать... Просит дорогу поправить перед старым мостом и делов всех...

— Пустяк, стоит об этом разговаривать... На один день оторваться-то...

— За это следует — и Осокин согласен, а ежели следует, никто и спорить не станет, когда только?

— Весной, вестимо... По снегу не будешь дорогу чинить...

— Весной, так весной ..

Теперь Петруха Кокин — о чем-то.

— Православные, до велика дня без малого семь недель осталось, кто жалает в рощу лес валить?..

— Как это, кто жалает? Мы все жалаем...

— Чего бы лучше да заковыка есть — у кого струмент имеется?

— Пила да топор у каждого найдется...

— Нет, пожалуй, и не у каждого. Вот теперь хошь красноармейцев взять, которые из армии вернулись, у них не только пилы, топоришко не у всякого. Обзавестись-то еще не успели. Опять вот у Па-

ниных, ребята так нуждаются, а чего с них взять: покупай, мол, пилу да в рощу ступай! Посмеются только:

— Пилу покупай, а на што, спрашивается?.. У нас во всю зиму один раз деньги ночевали, когда корову продали, а потом уж и не видывали...

— Уж как хотите,—Петруха на мир ссылается: — я бы каждому душевно рад...

Поспорили, покричали, а лес валить двенадцать человек набралось — один к одному. Народ справный, работники что надо и за «струментом» в люди не пойдут. Из голытьбы только Дупеля да Фомина взяли. Конечно, никому не отказывали, да что ты сделаешь, ежели никакой струментины, а без струмента вошь не убьешь, это каждый знает.

— Ладно, робята, вы не больно ударяйтесь... Ишь о чем, на работу не взяли!.. Она, работата, дураков любит... да... не богатит, а горбатит. — Дедушка Пискунов утешает, а сам смеется и левым глазом на Кокиных подмигивает: — Пускай они там пердю-то гнут, а мы здесь встанем, ну-ко, баба, блинков, ну-ко самоварчик...

— Полно тебе, Пискунов, на хер тень наводить... Самоварчик! У меня може жрать нечего, а ты все с балясами...

— А я-то што... Ежели бы я распоряжался...

— Вот оно и дело-то... А то беднота, беднота...

— Нет, Петров, — теперь уж и Пискунов не шутит: — нашему брату знать подыхать с этим... я как-то в библии прочитал, позабыл только к чему это: у неимущего отнимется, а имущему дастся... Во! Тут и заковыка... Ты куда сейчас? Заходи, покурим...

— Пойдем... Все одно не прясть, а ткать-то наймем...

— А то что же? Кокины теперь думают: вот вам, сукины дети,—наука; будете знать, как с нами заедаться...

— Пискунов, вы куда же? — с завалинки Панины кричат.

— Домой, а то куда же?.. Ты уж, чай, думал, я пилу точить. Нет, брат, и без нас обойдутся.

Все четверо к Пискунову двору подошли. От своей избы Колябка тоже к ним. Павлычев на колодце воду брал, видит мужики не расходятся, ведра поставил, и он к ним.

— Гляди-ко, — Пискунов смеется: — один сход распустили, другой начался...

— Уж больно обидно, понимаешь. — Павлычев высморкался и голицей по усам провел: — какому народу доверили, Кокиным!

— Тут, брат, и дивить нельзя, все рука да случай, — Пискунов напомнил. — У Феклиста сам Пуговкин каждую неделю ночует, как обоз отправлять, он до станции всякий раз проводит... а ночевать известно к кому?..

— Так Феклист, а не Петруха...

— А он кто ему?..

— Брат...

— А говоришь — Петров сердится, — какой народ не понимающий. Вся эта шатия, как репей один за другого цапаются. У нас это ежели кому удалось из нашего брата, так сейчас же: «Везет сукину сыну», а у них этого нет... Богатей за богатея глаза тебе выдерет... Вот хошь Дему взять... Мужичишко бедный, вымотался вплоть до некуда, бог помог на работу стать, так не только штобы порадоваться, а каждый норовит ножку подставить... Сидит, вот, чем еще кончится... Видимое дело все подстроено... Деньги украл? Да у Баюновых и в роду-то этого не было...

Старший Панин вспомнил, когда с Демой угли -жгли, так тот же Феклист кошелек обронил, а Дема поднял и вечером же сам набился: «Робята, кто деньги обронил?». А тут, украл...

— Што тут говорить, — Павлычев по-матерному выругался. — Нашему брату ни в чем веры нет...

Пискунов, Андрей Иваныч, старичок, а посмеяться любит. Собрал вокруг себя все охоботье мирское и радуется не на то, что вот их работой обошли, а на то, что вот их восемь человек сейчас и все в одно думают. А то, другой раз на сходе, ты им об одном, а они тарахтят, а они тарахтят и все врозь. Теперь вот, как жиганули их Кокины, так небось в грудку и «как это?».

Во всем Мызине теперь таких двое осталось. Семен Осокин да Пискунов Андрей. Оба они не то, чтобы бедняки очень, да и достатка большого нет, и как-то так выходит, что беднота им не завидует и богачи на них зубы не точат. У Пискунова дети на отделе, последнюю девку не нынче-завтра замуж отдадут, так не больно хапает.

— Слышали, как Феклист Осокина в рощу звал?..

— Что-то не вдомек ..

— Как же... Говорит: «Семен Андреич, валяй в рощу»... а тот поглядел да и говорит: «что зря толковать, ты вон Паниных бы позвал, Павлычева, а мне куда уж»... так Феклиста словно ветром откинуло, — Пискунов снова засмеялся.

— А что, ребята, ежели до начальства довести, я думаю Феклисту хвост наломают... В мирском деле нельзя по выбору — Колябка тоже на Кокиных.

— Доведи, а что толка-то? У них везде дружки-приятели... Сам анженер иху руку держит, Яков-то Мысеич, он их и наладил... Дема на него страсть как обижается, уж больно взыскивал...

— Да, Кокины опять силу забирают. А все революция, революция! От них, сукиных детей, никуда не спрячешься...

— Такой уж народ прожженный, — Павлычев на Кокиных ядом дышит.

— Два поля Пуговкин обещал, попомни мое слово, если ими Кокины не завладеют...

— Не может этого быть, тогда вся деревня опрокинется...

— И ничего она не сделает...

Панин младший все слушал, все дожидался, вот кто-нибудь что-либо новое скажет, как, например, Кокиным рога обломать или как бы так устроить, чтобы до города настоящую суть дела донести: город, он знает, в городе люди к этому приставлены, чтобы за порядком глядеть: в городе и суд, и закон, и власть, а деревня, так себе — все, что только прикажут.

— Мы теперь с братом вроде нищих, милостину не собираем, а кто подаст, не откажемся...

— Рази вы одни, нас таких-то вся деревня, почесь,—Колябка возражает.—Бывало, хошь работы не ищи, а теперь, туды е мать, подыхай на этом месте, копья не добудешь...

— Вот и я к тому же,—младший Панин опять за свое!—Ну и думаю, а дальше-то как? Дедушка Пискунов все посмеивается, ему все весело, а по-моему плакать надо.

— Ты, Ганя, горяч, больно, — Пискунов упрекает.—Смеюсь я тоже не с радости, только у меня такая нация: что плакать, что смеяться, одно добро, ни хуже ни лучше от этого не станет, так уж лучше смеяться, по крайности другие не заплачут... А насчет работы я так думаю: собраться еще разок, Семена Осокина позвать да просьбу в город

написать... Что это? Кто у нас нуждающие Кокин али Панины?

— Попытать, конечно можно, выйдет толк или нет, все одно хуже не будет. А в город с прошеньем не нарочно гнать, а вот Гаврюха Панин поедет на суд, с собой и захватит. — Судить будут Дему Баюнова, обвиняемого в краже семидесяти шести рублей у гражданина деревни Мызина, Петра Кокина.

Петруха Кокин чуть не двадцать человек свидетелей выставил: всех, которые в чайной видели, когда он с Баюновым водку пили, а потом в отдельной комнате спать легли: всех рабочих, которые на другой день от Баюнова деньги получили, и такой мерзкий человек, не постыдился от товарища Корочкина выписку выпросить, что накануне Баюнову было в деньгах отказано.

А Дема Баюнов покуда в тюрьме сидел, об одном думал, на кого бы ему показать, чтобы эту беду скачать? Думал, думал и надумал — мясника Лавруху, который корову купил, да Гаврила Панина, кстати он только и видел, когда корову со двора вели.

Первое время в остроге Дема повеситься собирался, так это ему обидно было, а потом попривык и меньше стал о деревне думать. Детей ему было не в перенос жалко, а про Варвару что-то и думать не хотелось, особенно после того, как на постоялом он у Петрухи веснушатое брюхо разглядел. Вспомнит Дема и с души прет.

Чаще всего у него Санька в голове: бойкая, работящая и будто сто лет ей. Потом Данило, а за Данилой и Колька с Кирькой. Особенно Кирька, какой это мальчишко шустрый, только задорен очень, чуть что, так и вспыхнет, а по-хорошему— мальчишко смекалистый и послушливый. Колька помягче, а тоже парнишко хороший.

Обо всем придумает, делать-то нечего. Опять товарищ Потапов на ум придет: «простоват очень, тебя каждый обратает».

— Правильно, через простоту и в острог попал...

«Простоват» в деревне не то, что в городе. Там простоват, значит ума небольшого, а в деревне простоват, это еще небольшой покор, на худший конец — человек добрый и за своим интересом не следит. Поэтому, бывало, Дема на Потапова не обижался.

— Простоват и ладно, человека не обижу...

— Ты не обидишь, так тебя обидят...

Вот над этим следует голову поломать. Целую ночь, бывало, Дема глаз не сомкнет, в голове одно и то же, как бы ему за разум взяться и от своей простоты отделаться. Думай, не думай, в четырех стенах не больно раскачаешься, это уж когда на волю выйдет. А теперь вот лежи да слушай, как соседи пыхтят.

В камере «54» все народ отпетый собрался. В первый же день, как только Дема нос показал, чуть банок не наставили: в карты играли, кто-то колоду подтасовал, какая-то фальша вышла и такое кровопролитие началось, что Дема по камере бегал, уголка не сыскал, где бы голову скрыть, как эти табуретки да плошки летали.

Через час эта компания снова играла, а Дема всю ночь не спал, нового побоища дожидался. Место ему отвели самое крайнее к двери, куда на ночь парашу ставят, а от нее такое зловоние нестерпимое, что возможности нет.

Хлеб, что Дема из деревни принес, шпана в два счета расторговала. Пайку свою другой за целую неделю в карты проиграл, а тут такую варежку вдвинули, как Дему:

— У такого не отнять — сам господь бог осудит, — это на другой день надзирателю «Свиной глазок» заявил, когда Дема пожаловался.

До чего дело дошло — Демой, как инвентарем распоряжаться стали: «Дема камеру прибирай, Дема отхожие чистить, Дема в очередь за кипятком стой», а один раз тот же «Свиной глазок» Дему захотел в карты разыграть, чтобы тому, кто Дему выиграет, с ним, как с женой, спать.

Деме только одно — молчать приходится, а пикни и не услышишься, как ножом полыснут. Все это так, а уж если на то пошло, Дема и сам зубы покажет. Силы у него, пожалуй, на всю шпану хватит, только если бы они за ножики не хватались, на случай и он ножик в кармане держал, в коридоре за рубаху у одного золоторотца выменял.

Пока игра шла, Дема виду не показывал, что «Свиному глазку» верит, только когда игра окончилась и Витьке Дрыгуну Дему в жены определили, он из себя вышел:

— Кажись вот голыми руками задушу, — Дема рукава заскал и руки перед шпаной вытянул: — только посмей, который...

— Ничего, Витька, твое не пропадет, — «Свиной глазок» утешает. — Все они так спервоначалу... когда меня женили...

Начал рассказывать истории да такие, о которых Деме и во сне не снилось, а спать укладываться стали, ножик под тюфяк сунул.

— Сражу, сукиного сына, только попробуй...

Витька Дрыгун мальчишко молодой, а в острог шестой раз попадает. Не в диковину такому с своим братом баловаться, а к Деме приставать что-то охоты нет.

— Ну его к чорту, — на Дему рукой махнул: — бери, кому надо...

— Нет, брат, отказываться не моги, — «Свиной глазок» угрожает. — Выиграл, твое счастье...

Витька «на свое счастье» сердится, а как ты не выполнишь, что товарищи приказывают, а они, сукины дети, как на зло начали Витьку словно к венцу готовить. Умыться заставили, прическу сделали и голышом к Деме под одеяло сунули.

У Демы «всю нутрену повернуло», как он потом в конторе рассказывал. Сперва вся тюрьма заходила, перед глазами красные огоньки замелькали, а потом уж и сам ничего не помнит, только словно сквозь сон по камере грохот прокатился: это он Витьку об стол грянул, а когда «Свиной глазок» с кулаками кинулся, он ему так наподдал, что тот затылком чуть дверь не прошиб.

— Ну подходи, еще который, — Дема у себя на койку встал. — Ах вы, сукины дети, какие игрушки задумали!..

И думается Деме: «уж надо ли дожидаться, когда другой кто наскочит, не лупить ли всех подряд?»

И такую Дема в себе силу почувствовал, что, кажется, кинься они все восемь человек — в труху сомнет.

Надзиратель на шум к окошечку подошел:

— Что, вы, мать вашу в душу? Спокоя вам нет!..

Дема говорит:

— Посади меня в другое место, а то я их всех до одного решу, — и только сейчас из-под тюфяка ножик достал.

— А ты что, словно в баню собрался, — надзиратель на Витьку кричит.

Эту ночь Дема в карцере ночевал, а утром его в камеру к растратчикам перевели.

* *
*

На средокрестной неделе суд был.

Судили люди незнакомые, впервые Дему видели, а до этих пор только по бумажкам знали, в чем Баюнов обвиняется; не знал и Дема их, и как-то ему не верилось: вот эти самые люди, что за красным столом сидят, «святым духом» узнать должны: украл Дема деньги или Петруха поклеп возвел? Никак этого невозможно! Попытайсь Дема доказывать, что он этих денег в глаза не видал, никто не поверит — свидетелей не было, а скажи Кокин, что деньги кроме Демы взять некому — тоже, кто докажет. А раз так, зачем было его в остроге морить и столько народу на суд согнать? Нет, тут уж видно не с Деминой головой разобраться.

Над этим самым и судьи головы ломают. Обвинитель, тот прямо:

— Критическое положение, в какое был поставлен Баюнов отказом в выдаче денег, заставило его искать выхода. Деньги были нужны дозарезу, по его собственному признанию, а выход напрашивался сам собой: разгулявшийся Кокин, человек, не пользующийся популярностью среди однодеревенцев, и одним этим как бы поставленный вне закона моральной ответственности — у такого и взять не грех... Вот причины, побудившие Баюнова совершить преступление, человека, согласно показаниям свидетелей, безукоризненной честности до сих пор. Признавая хищение денег неоспоримым фактом и принимая во внимание объективные условия, толкнувшие Баюнова на преступление, я все-таки не отказываюсь от того, чтобы Баюнов понес заслуженное наказание. Осудить Баюнова пролетарский суд должен в инте-

ресах самого обвиняемого, так как этим дается ему возможность почувствовать всю тяжесть содеянного им, а если принять во внимание еще то обстоятельство, что исправительные дома при советской власти не являются карательными учреждениями, то осуждение Баюнова надо приветствовать, так как через это мы даем ему возможность в будущем быть полезным членом советского союза...

Дема ничего не понимал: при чем тут такое ласковое отношение к нему со стороны обвинителя и все-таки — тюрьма, да еще ему, Деме, к выгоде. Нет уж, благодарим покорно, Деме ничего этого не надо:

— Денег я не брал, даже в помышлении не было, а если Петруха показывает, так по злобе на меня... Я его один раз за гашник от своей бабы оттащил...

Это к делу не относится, об этом судьям и говорить нечего, а что виноват ли Баюнов, об этом подумать надо.

Пошли в отдельную комнату, через полчаса или минут через двадцать снова вышли. Один стал по бумажке читать, что, дескать, «обвинение в краже считать недоказанным, а поэтому — оправдать». Издержки и тому подобное, ну — все как полагается.

После суда из свидетелей ни один к Петрухе не подошел, а все возле Баюнова жмутся. Лавруха мясник, человек бывалый, как только Дему за решетку выпускали, сейчас же за ручку:

— Поздравляю, — говорит, — пойдем на постоялый, у меня там лошадь дожидается...

— Никак невозможно, — Дема отказывается, — надо еще в контору наведаться, там у меня вещи оставлены, я уж вот с робятами, — на Панина и

Данилу показывает,— а ежели хочешь, так сходим на радостях чайку попить...

Пошли всей артелью. Данило все Дему по плечу хлопал и про своих ребят рассказывал, как они Дему жалели, когда он в остроге сидел, а про Саньку одно:

— Чисто с груши упала...

Домой итти все-таки Деме не привелось с артелью, пришлось в городе на два денька задержаться. Надо было Корочкина повидать, к Якову Мысеичу наведаться и, велики ли, нет ли, счеты за работу окончить.

Вышел он утром, около полден Рамешки миновал, хотел зайти чайку напиться, да вспомнил, как он здесь в беду попал — отнеси господи, лучше на семь верст крюку дать, только бы этого места миновать.

Шел, в охотку, что значит, на вольный свет радовался. Пасха выпала поздняя, так середокрестная неделя на апрель пришлась. В лесу еще снег лежал, а дороги почернели и возле каждого дерева кругом обтаяло. Кое-какие птицы прилетели, по всему лесу стон стоит. Особенно дрозды заливаются.

На Лужках речонка прошла, лед не вспучило, а через него вода хлещет. У Демы сапоги твердые, только боится, как бы через голенищи не захватить. Сел на бережку, разуваться начал. Два десятка верст отмахал, в ногах сказалось, ломота и мозоли палит. В студеной воде сразу все неудачи пропали, только уж больно холодно, терпенья нет. На берег выскочил, обуваться не торопится, только портянками досуха вытер.

«Пусть остынут», — про ноги подумал и стал папиросу завертывать. Раза два затянулся, в голове кружение пошло, и всякие думы в голове

толкутся. Прежде всего, с чем он домой глаза покажет? Дома без него чем только животы тянут. Бывало, при корове, все-таки, а теперь? Про корову вспомнил, точно кто ножом пырнул:

«Ни коровы, ни денег...».

Какой человек Варвара, а поди тоже упрекать станет: «вот, мол, последнюю корову со двора свели, а дети светлый праздник без молока встретят...».

Деньги за корову он, положим, вернет, только на эти деньги теперь коровы не огорюешь, да ведь и жить на что-нибудь надо.

Думал, думал Дема и такая тоска его за сердце ухватила, хошь на вольным свете не жить. Покаялся, что с пустыми руками домой идет, лучше бы в городе работы поискать.

Вспомнил, как он из тюрьмы рвался, как ему первое время не верилось, что когда-нибудь снова на воле очутится, как потом помаленьку с неволей свыкся и какой в тюрьме народ разный. Только про камеру «54» помнить не хочется. В камере «28» народ благородный, конторщики, писаря, заведующие. С этими Дема особенно дружбу не вел, а обижать его не обижали. Трое были партийные, по четвергам в клуб на собранье ходили. Разка три-четыре и Дему брали. Мудренно говорят, а все-таки кое-что и у Демы в голове засело, особенно про то, как человек должен «свою праву» искать. Потом про то же из библиотеки книжки приносили и все промежду себя насчет их спорили.

Сиди не сиди, а итти надо, пятнадцать верст осталось, дай бог к ночи в Мызино добраться. Обулся, хотел уж мешок надевать, да услыхал, по дороге лошадь шлепает — Петруха Кокин едет:

— Садись, подвезу...

— Поезжай, поезжай... С тобой, как с фальшивой монетой...

— Вот это напрасно, — Петруха лошадь остановил. — Ты, Дема, зря... Что это, через меня что ли?..

— Хошь бы через чорта, только гусь свинье не товарищ...

Теперь уж и Петруха рассердился. Главное, он к человеку с открытой душой, а тот как собака огрызается.

— Гордиться нечего, гордостью не возьмешь, я с тобой по-хорошему...

— Не надо мне твово хорошего, а за то, что ты с меня голову снял, я тебе попомню, — Дема по дороге пошел, а Петруха рядом едет и все к Баюнову с разговором пристает:

— Отвяжись от меня, честью прошу, а то я тебя, в сердце тебя мать...

— Дурак был, дурак и есть, — Петруха лошадь хлыстнул: — с таким и слов терять жалко...

— Сволочь! — Дема ему вдогонку пустил: — человека до петли довел, а тут хвостом виляет...

На душе у Демы еще тоскливее сделалось: куда идет, с чем домой явится,—в сотый раз подумал. Домой вернется, та же Варвара встретит в рваном платье, и всегда где-нибудь на лице или на шее комок грязи висит.

Умыться-то некогда, заделье большое...

В избе все по-старому: у порога веник приставлен, а упадет, через него шагают. Возле печи рукомойник глиняный, а под ним лохань, от которой всегда чем-то тухлым пахнет. На окнах подзорины, как когда-то повесили, так с тех пор и не стираны — лица не видно.

Печка, пожалуй, все так же коптит, — Дема вспомнил, — особенно, если ветер вдоль улицы: «из трубы вышибает», как Варвара говорит.

Конечно, коптит. Если у самого трубу поправить руки не доходили, а без него кто сделает. Сам себе дивится, как это он до сих пор Варвару не замечал, какая она баба не аккуратная и какой человек беззаботный. Другие-то тоже бедствуют, а у них незаметно этого: в избе порядочек, дети прибраны, на мужиках и латаное, да чистое. А у Демы:

«Чорт ее знает, и от чистого-то воняет...».

Совсем баба нехороша стала. Ребята — это другое дело. Они не виноваты, что у такой матери уродились. А отец? Отца тоже похвалить нельзя. Дема и себя не оправдывает. Как опустил рукава, так и ходит повеся.

Корова была и той лишился...

Это хуже всего. От детей ему прощенья не будет, только одно — малы еще, не смыслят половины. Что же, дело не опоздано, наквитать всегда можно, и тут же сам себе поперечил: «наквитай, когда все упущено».

Что же теперь остается — взять веревку да вот на этой сосне и повеситься?..

* * *

Товарищ Корочкин в укоме задержался, а в двенадцать часов у него заседание. Пришел четверть первого. Не успел в кабинет вкатиться, а тут со всех сторон рвать начали: этому подпиши, этому разъясни, этому ответь, что такое?

— Братцы, нельзя так... Надо же порядок соблюдать... У меня заседание, людей задерживаю... Вот у меня целый ворох, — на бумажки показал: — долго ли они валяться будут?..

«Может быть и так, — каждый про себя подумал, — но ведь у меня дело исключительной важности, а это бумажки и бумажки».

Вышли все недовольные. Вообще товарищ Корочкин за последнее время что-то сдавать начал— не справляется. Секретарь Губкома и то и другое требует, а он обещает только.

— Корочкин, подтянись! — это его последнее слово.

А как тут подтянешься, когда в сутках только двадцать четыре часа и одна голова на плечах? Разве Корочкин за собой стоит? Он спать-то ложится не помнит как, а уж только утром услышит, что восемь часов и подниматься надо.

Корочкин настолько заработался, что забыл, когда он партийным был, и каждый раз, как в эс-эн-ха партийцев на собранье зовут — ему не по себе сделается:

— Вот выдумали... опять два часа потеряно...

И вот с этими двумя потерянными часами у Корочкина куда-то пропадал весь его революционный багаж, с которым он исколесил от Черного до Белого моря, от Якутии до Самарканда, с ручательством от царского правительства за его сохранность.

Теперь этот багаж у него тоже не брошен, а куда-то убран до случая, за минованием надобности, а за повседневной, напряженной работой только позабыл, куда его засунул когда-то.

Текущие дела, будневые интересы не требуют ни революционных традиций ни героических жертв — нужны крепкие нервы, ясная голова и неустанная работа на экономическом фронте.

Сегодня перед тем как открыть заседание в кабинет ворвался секретарь ячейки и громко, не обращая ни на кого внимания, увесисто и настойчиво сообщил:

— Партийцы! В шесть часов собрание ячейки!.. Присутствие обязательно... Обсуждение ре-

золюций съезда. Было опубликовано. Явиться с проработанным материалом... Кто не успел ознакомиться, подготовьтесь...

— Ну, ладно! Николай Евгеньич, докладывайте, что у вас первым?..

— От граждан деревни Мызино, за подписью двенадцати человек: Пискунов, Панин и другие...

— Знаю... это по делу Баюнова?

— Нет, о братьях Кокиных...

— Читайте...

Секретарь прочитал о том, как крестьяне деревни Мызина «вплоть до ручки дошли». То-есть до такого положения, что как только до нового урожая животы дотянут. Продналог и другие повинности у них все в исправности, а ежели которые замешкались, так оттого, что нужда повалила. Да и то в деревне таких—раз-два да и обчелся. Всю зиму надеялись, где работенки не выпадет ли, а выпала, так ее Кокиным сдали. Кокины народ известный, всегда против мира шли и ни в какой работе не нуждаются. Старший, Феоктист, постоялый двор содержит, а младший, Петр, только осенью лавочку прикрыл. Сперва работу Дементию Баюнову сдали, а потом его же в тюрьму забякали, а все Петруха Кокин. «Товарищ Пуговкин Феоктистову руку держит, а что мы, если бы за эту работу взялись — хуже бы Кокиных сделали?».

Покуда секретарь докладывал, Корочкин о своем думал, о том, что жизнь наступила скучная, что нет революционного зажига, что все идет по плану и расписанию, и вот ему, старому подпольщику, не на чем применить ни боевого опыта ни революционной тактики. Дни и годы, предстоящие впереди, представляются ему огромной книгой с однообразно-скучным содержанием. Оглянувшись кругом,

он увидал перед собой целый ряд лиц с печатью неизбывной скуки и обязательного внимания.

Яков Мысеич? Он попросту не слушает, о чем докладывает секретарь, чертит на углышке повестки дня какие-то замысловатые узоры, и только когда задумает зевнуть, положит карандаш и прикроет ладонью рот.

Все присутствующие напоминают Якова Мысеича с той только разницей, что этот знает, о чем идет разговор, а те никак не могут понять, чего добиваются Мызинские мужики.

«Может-быть, и я такой, ежели со стороны поглядеть».

Корочкин в кресле завозился, ему стыдно самого себя сделалось. Повернувшись налево, он встретил чей-то пытливый острый взгляд и тут же отвел глаза в сторону, чтобы посторонний не прочитал его мысли.

Обернувшись снова, он увидал молодого человека, комсомольца Тузова, он жадно впитывал каждое слово секретаря и с горящими глазами оборачивался в сторону председателя при более сильных местах доклада.

У Корочкина сердце забилось:

«Хошь один, хошь мальчик, да интересуется...».

Теперь и Корочкин стал вслушиваться, о чем читает секретарь, и, по старой привычке обобщать каждое явление с марксистской точки зрения, вывел определенное заключение, что здесь работают кулаки, что деревня незаметно до сих пор остается под их влиянием, что этому надо положить конец, а Якова Мысеича надо заставить отказаться от своей беспринципности в посылке на работу людей.

Корочкину ясно.

— Кто имеет вопросы к докладчику? Нет? Ты, товарищ Тузов? Хорошо, спрашивай...

Тузов был первый раз на таком ответственном собрании, среди партийцев, спецов, вообще среди «больших», а сам он только в Октябрьскую революцию переведен в комсомол из кандидатов. Все это обязывало его быть особенно внимательным и чутким к вопросам, подлежащим разрешению. Прежде всего, ему хотелось уяснить перед собой, в чем же суть этой бумажки и что это за работа, которую доверили явно неблагонадежному элементу. Сам он решить не мог, а поэтому он обратился к председателю:

— Для меня не ясно одно: докладчик прочитал по бумажке какое-то заявление от имени крестьян, что их обошли работой — повидимому, люди нуждающиеся — и отдали ее несомненному кулаку. Может-быть, секретарь доложит, по какому принципу производилась сдача этой работы и кто является ответственным...

Секретарь, из бывших офицеров царской армии, очень недвусмысленно посмотрел в глаза председателю, как бы удивляясь наивности молодого товарища, и с улыбкой снисхождения посмотрел на Тузова, дескать:

«Милый мой, уж лучше бы молчал, если ни шиша не смыслишь».

Но ответить ему не дал Яков Мысеич. Приложив два пальца к груди, он кивнул через стол председателю:

— Позвольте?..

— Ваше слово...

— Товарищ может ознакомиться с делом в любое время, если зайдет в наш отдел... В данном же заседании детализировать этот вопрос я нахожу излишним...

Присутствующие, кроме Корочкина в знак согласия лениво качнули головами и мысленно поставили считать вопрос исчерпанным, за исключением решения по существу заявления.

Сбитый с толка комсомолец растерянно оглядывал присутствующих и ждал как чуда, что вот кто-то попросит слова и поддержит его предложение, сам он от волнения потерял возможность логически пояснить свою мысль и настоять на первоначальном предложении.

Председатель Корочкин отлично понимал, что волнует Тузова. Молодой задор комсомольца передался сорокалетнему партийцу, а каменное равнодушие присутствующих, мерзкая улыбка секретаря и напускное спокойствие Якова Мысеича только усилили его желание поддержать Тузова.

— Я с Тузовым согласен... Действительно здесь что-то есть... Вопрос о заявлении крестьян я предлагаю передать в комиссию по заготовке материалов. В той же части этого заявления, где указывается на передачу заведывания работой определенному кулаку Кокину—произвести расследование... Товарищи, вопрос чрезвычайно важный. Не забудьте, здесь мы имеем дело с деревней, смычка, иначе говоря, а раз это так, то мы должны ясно представить себе, с кем мы смыкаемся?..

Комсомолец, счастливый поддержкой самого председателя, жадно ловил каждое слово Корочкина, чтобы потом, делая доклад в ячейке, передать товарищам, как прошло его предложение и в каких выражениях Корочкин проводил его мысль.

— Сейчас я могу предложить следующее, —продолжал Корочкин: — выделить тройку для подробного выяснения этой истории, поручив ей на месте разобраться по существу заявления...

С своей стороны я предложил бы в состав тройки ввести товарищей Тузова, Калинина и Якова Мысеича...

Предложение было принято, и вновь организованная тройка слушала следующие вопросы несколько спокойнее, думая о только что порученной ей работе.

После заседания Тузов подошел к секретарю и попросил его подготовить материал, чтобы завтра с утра он мог ознакомиться с ним.

Секретарь, конечно, не отказывается, но дело в том, что сконцентрировать его трудно:

— Часть в общей канцелярии, часть у Якова Мысеича на руках и в делах комиссии...

— Хорошо, но все-таки подготовьте...

Корочкин шел к третьему дому советов в каком-то приподнятом состоянии. Веселила мартовская ночь, синяя крыша неба, большущие звезды и хрупкий ледок, затянувший лужицы.

Корочкин не знал, отчего ему так легко и радостно, но смутно догадывался, что им сделано какое-то хорошее дело, правда, очень незначительное на первый взгляд, но за этим «незначительным» он видел целую полосу широких и плодотворных возможностей, а главное — ему снова понадобился тот революционный багаж, который был им сдан когда-то на хранение.

* *
*

Дни стояли теплые и ясные, солнце настойчиво пропекало землю, согнав с открытых полей сугробы, нанесенные зимой, заглядывало сверху в непроходимые чащи Чертолья, где работала мызинская артель, добивая последнюю делянку.

В Благовещенье артель не работала, кто не ушел в деревню—лежал на нарах, которые Санька

все-таки примостила вдоль стены. Данило рассказывал, где хорошо живется «нашему брату» и где работы этой самой хошь отбавляй. А такие места есть, только вот ехать дорого стоит и подняться не с чего.

Саньки не было в берлоге, она все больше и больше начинала тосковать о деревне, о людях. Убравшись по хозяйству, она выходила на завалинку и долго сидела под окном, ни о чем не думая, ничего не соображая, только прислушиваясь, как начинает оживать лес, какие любопытные пичужки пролетают мимо нее и как задорно рокочут ручейки, огибая их «берлогу».

Прямо перед ней тропинка, черной щелью пересекшая бор, косматые ели протянули седые лапы, как бы прикрывая свою наготу.

Ближе к «берлоге» березы и одна из них залитая соком, покрасневшим на солнце.

«Это Кирька подсочил», — подумала Санька и тут же пожалела, что не видала, а то вот как бы уши надрала.

Ни Кольки ни Кирьки близко не было. Каждую свободную минуту бегали на реку, смотрели, как по заводям лед пучило и как щуки выплывали на полои метать икру.

Перед самым обедом в «берлогу» гости нагрянули. Знакомый, Яков Мысеич, а с ним еще двое: один молоденький, чуть не в Кирькину пору, а другой постарше — «рыло скобленое». В городе уж это все, чуть пушок появится, скорее бритвой, да не только на бороде — и под носом. Не любит Санька таких.

— Подите, все дома,—Санька на берлогу указала, когда насчет народа спросили.

Молоденький вперед пошел, а те двое, что постарше, у калитки задержались. Санька вида не

показала, что ей тоже охота послушать, о чем будут в «берлоге» разговаривать, и также спокойно осталась сидеть на завалинке, но любопытство победило, набрав охапку дров, пошла и она.

Отец стоял у стола и, видимо, только что кончил говорить. Молоденький что-то записывал на большом листе бумаги. Заметив Саньку, отец отвернулся от стола:

— Саня, когда Петруха обещался вернуться?..

— Почем я знаю... к вечеру сказывал...

— К вечеру, — передал Данило: — уж вам бы лучше его дождаться... Он у нас закоперщиком, а мы что, нам што прикажут...

Спрашивали всех по-порядку, только Тумак огрызаться начал и его оставили. Расспрашивали обо всем, о Кокиных, о Деме, об артели, о заработке, на все ответы получили.

Покуда Данило рассказывал, что его погнало на работу, вошли Кирюшка с Колькой. Незаметно добравшись до сестры, Колька шопотью спросил:

— Кто это?

— Спроси их... я и сама не знаю...

— Гляди-ко, комсомолец, — Кирька брата толкнул, — уж это обязательно... Коляк, спроси его...

Коляк сердито отмахнулся локтем и продолжал слушать, о чем разговор идет.

В конце, когда уж с бумажками покончили и кое о чем другом заговорили, Данило Баюнова пожалел:

— Какой был человек душевный и как с ним работа спорилась...

— А чем ты Кокина похаишь, — Дупель за Петруху вступился.

— Нам все едино, — старик оправдывается: — только с тем все-таки вольготнее было...

— Вольготно страсть, по семь шкур спустили, что при том, что при этом, чего вольготнее, — Тумак обоих покрыл.

У Кирьки сердце замерло, когда на него комсомолец уперся:

— А вы тоже работаете?—ко всем троим обратился.

Колька только поежился, дескать, «чудак человек, о чем спрашивает», а Кирька от замешательства носом шмыгнул, а Санька, той просто смешно стало:

— Нет, — говорит, — мы здесь у праздника...

Комсомолец тоже застыдился, уж больно чудно вышло, и в самом деле, какой бы чорт в эту «берлогу» загнал, если бы не работа.

— Я вот про малого, — на Кирьку показал.

— Помогает... Как же... Он у нас, не гляди, што косо повязан, далеко видит, — отец за Кирьку.

Все на Кирьку поглядели, даже тот, «скобленое рыло» и тот засмеялся. А Тумак должно быть от радости, что чужие уйдут скоро, тоже под Кирьку подъехал:

— Парень что надо! На полу спит—не падает, сам на двор ходит...

Кирьку так и взорвало:

— Молчал бы, киляк, дьявол!

— Ты у меня не очунь, паршивец!.. пра-паршивец, — отцу не полюбилось...

— А что вы пристали?—Кирьке плакать впору.

— Вот, работу кончаем, — Данило сразу на другое повернул: — другой не предвидится, а без дела нашему брату начетисто...

Тузову Кирька полюбился: «хороший комсомолец выйдет» — про себя подумал, а через него, конечно, и к отцу расположение.

— Работы много, — говорит, — ее на век хватит...

— Да нет, — Данило руками развел: — куда ни кинь, везде клин...

— А с Баюновым?

— С Демой што ли? Так он после острога сам колотится...

— Нет, Баюнов артель подбирает, лес сплавлять... Как только лед пройдет, так сейчас же...

— Вот это так,—Данило по бороде сверху вниз провел: — с этим дело выйдет, главное, человек чеснеющий...

Тройка на Коровий брод пошла, где Петруха с своей артелью орудует, а в «берлоге» разговор пошел, как бы новую работу не проморгать и заранее с Демой договориться.

— Как ты договоришься, ежели он глаз не кажет...

— По-моему, сходить надо...

Сходить, так сходить. Дело такое упускать не следует, а то, глядишь, опять Кокины переймут — народ алошный.

* *
*

— У меня Дементия словно на другого подменили, — Варвара на колодце жалуется. — Рвет и мечет, рвет и мечет: и то не так и это не эдак...

— А ты думала! Он, острог-от, добру што ли учит...

— Что уж говорить, все-таки не на такую стать... Намедни говорю, какой ты человек неспокойный, как другие-то живут? А он меня матерно: «Люди-то только и глядят, у кого бы из-под задницы вытащить, а я по-другому»... Ну,

мол, и ладно... Другие-то вот в свят день молочком разговляться станут, а наши детушки воду хлебай... Что было? Сама не рада, что сказала... Теперь все что-то в город бегает, работы ищет... Пускай его, теперь нет еще коровы...

— Верно, Варюха, другой стал мужик... Бывало, встретит, разговорится, а теперь пройдет, только шапку подымет...

Совсем испортили мужика, об этом Варваре лучше всех известно.

— Нужда и раньше была, да псом-то не был...

— Каку сударку не облюбовал ли? — соседки сочувствуют. — В остроге-то всяких много...

— А будет тебе пустяки говорить — сударку: нам не до этого... Так уж говори, наехало, вот и бесится...

— Если с ветра пущено, конечно, тут еще помочь можно. Вот, к примеру, Вавиловна. Она тебе, что хочешь... Только соберись как-нибудь, и не дорого берет...

— Сроду по ворожеям не ходила, грешница... боюсь их пуще огня...

— Пойдешь, любушка, если себе добра хочешь...

Обещать не обещала Варвара, а соседкин совет в голову взяла. Ведь и в самом деле, что это с мужиком только сделалось. Бывало, ко всем такой жалостливый, а теперь вот Панины... Гаврюха раза два заходил посоветоваться: «как, мол, ничего не придумал?» Как пес с цепи сорвется: «Что я, за всех думать нанялся? Подите все к растакой матери!».

— У меня свое... сношу...

Да все напрямик, слушать не хочется.

— Один раз, — говорит, — нарвался, благодарим покорно... С нашим народом пива не сваришь...

Работали, так нет, и дешево, и Дема не хорош, теперь с Петрухой поработайте, он слаще...

— Ты про Фомина, што ли?

— Про кого бы ни было, все сволочь, привыкли из-под палки на кого-нибудь спину гнуть, а себе добра не хотят...

— У нас этого не будет, — Панин уверяет. — Главное, народ обстоятельный, что Пискунов, что брательник мой, Осокин так и говорит: «ежели с Демой возьметесь — у вас выйдет...»

Дема помягче стал, что ни говори, а хорошие люди не перевелись: вот хошь Осокина взять, что он работы добивается или что? Просто человек с рассудком и сразу видит, возле кого надо бедноте держаться.

— Больно, Гаврюха, дело-то не завидно дают— лес гнать... Работа ломовая, а расценки дешевые...

— Кто как, не знаю,—Панин признался:—а мы с братом за большим не гонимся, вплоть до ручки доелись...

Вечером сговорились у Пискунова собраться и окончательно решение положить—брать работу или отказываться?

* *
*

На вербной неделе валить лес кончили, обе артели расчет получили и мызинские в деревню вернулись. Те, что с Кокиным на Коровьем броду работали, на день раньше пришли, а Данило с своими из «берлоги» на день после выбрались.

Сам Данило с семьей опять к Баюнову нагрянул:

— Не оставь, Дементий Парфеныч, ночуем ночку, а завтра утречком, пока не распустило...

— Торопиться некуда,—Дема полагает:—денек-другой погостить можно...

— Вон Санька больно торопится, к празднику хочет избу мыть да и с коровой забота...

Кирька сейчас только вспомнил.

— А на ково кошку покинула?—Саньку спросил.

— Ишь ты хватился! — отец смеется:— кому о чем забота!..

Это все спервоначалу о пустяках, а потом и дельные разговоры повели.

— Если бы дело вышло, — Данило говорит: — я бы на праздник не поглядел, опять бы всей семьей привалили...

— Делу как не выйти. В городе только мово согласья ждут... Кокиным давали эту работу, да разве они станут... А тут и Пуговкин что-то на мою руку... «Вот, Баюнов, с этим управишься, ко мне на завод дрова резать...»

— На счет резки, я не знаю, — Данило еще не уверен:—а что по силаву с нашим удовольствием... Теперь вот кое-как с деньжонками справились, охота после Пасхи лошадь купить... Робята подросли, на землю посадить охота...

— Там, что будет,—Дема соглашается:—а на той неделе приходите...

Покуда ночи ждали, Колька с Киркой на улицу вышли, Данило на печку погреться попросился, а Санька возле Варвары держится. Варвара не из бойких, а с Санькой и то разговорилась. Пожаловалась, что вот теперь без коровушки маются, детьня повалила, не успевает заплаты чинить.

Санька с Варварой говорит, а у самой руки работы ищут: то на пол нагнется, какое-нибудь руно поднимает, то с окошка в руку мусор сгребет и в лоханку сбросит, а потом у Деминых ребят космы заметила:

— Поди, вши заели, — на двоих маленьких показывает:—давай ножницы я их оболваню...

— Али умеешь? — Варвара удивилась.

— Есть о чем говорить,—на братьев показала:— все время стригу...

Варвара, конечно, рада, только никак не вспомнит, куда она ножницы засунула.

— Робяты, вы куда не затащили ли?..

Нет, робяты не брали. Стала Варвара по избе кружиться и туда и сюда поглядит, нет и нет. Только уж Дема пособил и где-то под лавкой в щели обрящил.

— Иш ты, псы, куда засунули,—на ребят попеняла.

— Сама-то больно растяписта, — Дема упрекнул: — ничему места нет...

Перед Санькой ему за такую бабу стыдно, а что ты сделаешь, куда ее денешь? Пошел в сарай за сеном, а потом крикнул, чтобы Варвара в сени ведра поставила:

— Заодно уж воды наношу...

— А где мои-то хахали?—Данило с печи спрашивает: — они бы наносили...

Пустяк какой, а что Деме делать? Целый день скамьи обтирает да на грязную Варюху радуется, радехонек, если из избы выкатится.

На прогоне народ собрался. Дема ведра у колодца оставил, а сам тоже туда. Молодые мужики ребятишек драться стравляют. Ванька Тумак подвозыкивает.

— Нет, что зря говорить, Кирьке нипочем против Кокина не устоять,—мальчишку подзадоривает.

А Тошка, Петрухи Кокина, так перед Кирькой кулаками и сучит:

— Где ему, я на одну ручку на такого-то. — А сам рыло вытянул и Кирьку дразнит: язык

выставил и глаза вытаращил. — Э, у него и глаза-то, как у коровы...

— Не лезь, не лезь,—Кирька басом попытался и тихонько того в грудь толкнул. А Тумак и тут поспел:

— Да что ты, Киряк, спускаешь, дал ему раза, вот и не станет...

Кирьке не надо другой раз говорить, размахнулся и бац по плевательнице, конопатый Кокин тоже не спустил и пошла потасовка.

— Нельзя, нельзя в лежку, — мужики встряли, когда Кокин Кирьку пинком ударил. Да разве Кирька за этим гонится, ему теперь хошь все рыло раскровяни, он и то не услышит.

С колен поднялся, опять заходил, левую руку вперед выставил, а правую наготове держит, чтобы поплотнее Тошке в рыло поддеть...

Баюнов увидал, говорит:

— Это што? Кирька, сукин сын! Да разве мысленно...

— Ничего, дядя Дементий, дай, я ему сопли-то надберу...

Дема и думать не велел, а еще на Кольку попенял, что тот своего за вихры не увел.

А рыжий Кокин все норовит, как бы из-за Демы Кирьке в едалы заехать.

— Ты, сволота, конопата,—Дема на Тошку прикрикнул, — а то свистну вот по затылку...

Петруха от своего двора видит, что Дема вмешался. На Дему у него самого зуб играет. Главное, на суде ничего не вышло, потом с этой работой. Председатель Корочкин прямо сказал:

— Враждебный элемент для советской власти...

Ошельмовал, можно сказать, на всю округу:

— Ты честного человека в воровстве поклепал, сам его подметки не стоишь, — это все Корочкин, когда Петруха расчет сводил.

Теперь у Кокина на Баюнова наболело — в порошок бы стер, да как ты к нему привяжешься, да и Дема стал по-другому с ним разговор вести.

— Вам бы, — говорит, — с братом давно пора хвост прищемить, только у нас народ не такой...

— Попытай, попробуй, — ему тогда Феклист навесил.

— И попытаю, — Дема в задор полез. — Вы теперь вот насчет полей к председьсовету подъезжаете, шалишь, одует вашу милость.

Мужики, которые слушали, только посмеиваются, а на чью-нибудь сторону стать опасаются. Против Феклиста пойдешь — добра не жди, он тебя не мытарьем, так катаньем, а Демину руку взять — человек сам бессильный, вон его как скрутили, без суда, без следствия. А все-таки рады, чтобы Кокиных хошь немножко осадить. Это и Кокиным видно, только придраться не к чему.

— Эй, ты, руно горохово, — от своей избы крикнул. — Ты у меня парнишку не моги, а то я тебе вот, что сделаю...

Дема тоже не ангел, стоит только Петрухину харю увидать:

— Молчи уж, чортова голова, стану я с твоим паршивцем связываться...

Кокин от избы подходит и на Дему всей грудью напирает:

— Ты не очень лезь, — Дема отступил немножко, — ежели на скандал хочешь, так мы тоже не очень испугались...

Теперь уж Колька с Киркой Дему уговаривают:

— Пойдем домой, плюнь, охота связываться...

Пискунов тоже говорит:

— Дементий, оставь, что это?.. Словно масляница... На все свое время...

Баюнов разгорелся, не слышит, что ему со стороны говорят, он одно в голове держит: «не ударить ли?», кажется только бы пальцем коснулся, не живи на свете, он не поглядит, что у Кокина рыло красное да брюхо через кушак ползет, он ему живого места не оставит.

Дупель будто Дему жалеет:

— Ты, Баюнов, напрасно, он тебя словом не убил... А нашему брату стерпеть можно, что мы перед ними?..

— Стану я об него руки марать, спаси господи! — Кокин полы запахнул и руки в карманы засунул.

— То-то,—Дема смеется,—а то помарал бы... Глядишь, я бы тебе намарал...

Председьсовета вышел и стал народ совестить:

— Кажный раз, как только соберетесь, непременно скандал. Никакого понятия... Жители!

Кокин ли уступит, говорит:

— Ты не лайсь, а прежде, в чем дело разберем, а то «жители»! Он, сукин сын, може бы изувечил парнишку, кабы я не подошел...

— Напрасно, Кокин, он твово мальчишку не трогал, — Пискунов за Дему вступился: — а что дрались, это правильно, Тошка сам назвался...

— Сговорились, видишь ты,—Петруха на Пискунова головой мотнул,—нет, товарищ председатель, Баюнову надо уем дать... Он теперь на меня зубы точит, что в остроге посидел .. Как хочешь, ежели ты мимо ушей пропустишь, я в вик пожалуюсь... Чтобы каждый ворище...

Председельсовета на Петруху, верно, шибко прикрикнул: «ты, мол, Кокин, языком не очень... знаешь — не пыман не вор».

Только Баюнову не легче:

«Вором ославили, теперь каждый тебе в глотке перехватит».

Домой вернулся — у Варвары самовар поспел. Санька что-то с ребятами возилась, а Данило на печи похрапывал. Стали чай пить, Данила не добудятся, когда-то, когда раскачался:

— Не печка у вас, а угодница... Так это меня развезло, кажись до завтрого бы не проснулся...

Дема Данилу, как свово, полюбил, а на этот раз не больно разговорился. Болит у него душа, что такую на него напраслину возвели, а как ты каждого уверишь,—я, мол, денег не брал, кто тебе поверит?..

— Уж так мне в своей деревне очертело, не знамо куда... только бы глаза скрыть...

— А ты полно, — Данило утешает: — на всяко чиханье не наздравствуешься... Вот, подумаешь, дело какое... Кокины!

— Мне Кокины, тьфу, плюнуть да растереть и делов-то,—Дема рассердился,—главное, напраслина... Через него я бобылем стал... Понимаешь? Весной думал лошадь купить, корову выменять, а теперь что я за житель?.

— Кто об этом говорит,—конечно, и Данило согласен.—Нашему брату без этого никак нельзя, ежели хочешь землю из рук не выпустить. Без земли не проживешь. Теперь не стара пора, когда бывало, куда не суньсь, везде работа, а теперь, как псы за кость, за нее матушку норовят друг другу глотку перехватить...

Долго говорили, взад-назад поворачивали, чтоб какое ни на есть решенье положить, а кончили

тем — не надо от работы отказываться, которую Деме обещали.

Рано утром Данило с семьей домой поднялся, а Дема пошел на завод к Пуговкину. После суда Пуговкин ему с нарочным наказывал: «пусть Баюнов наведается, у меня для него работа навертывается».

Всю дорогу шел и об одном думал: не везет ему, хошь ты лопни. Другие-прочие к чему только руки не приложат—везде барыш, а ему, разнесчастному, везде убыток. Ну думано ли, что здесь, на этом деле, как лес валить и то сорвется? А острог? Про это он и думать боится. «Свиной глазок», Витька Дрыгун—что это за люди, а над ним и те смеялись: «У такого не взять—сам бог осудит...».

И берут, все берут, кому не лень только. А почему? Да потому, что сам у людей на хапает. Другие с мертвого рубаху снимут и все им с рук сходит, а ты попробуй своего не дать и то виноватым сделают.

Раздумался до того, что жизни не рад. Ну какая это жизнь, если человеку в тридцать два года умереть хочется? Опять и то — умереть всегда успеет — а как с детьми теперь? Если для него белый свет клином сошелся, а как они будут? Опомнился, у реки стоит. Черная речка из берегов вышла, на обе стороны расхлестнула, только глазом охватить. Пониже спуститься—перевоз будет. Зимняк прямо в реку ушел, а летняя дорога левее прошла. Пошел напрямик, перелесочком, уж больно реченка вертячая, таких то ли петель напетляла, весь лес измызгала. На перевозе слышит: люди орут, с той стороны парома дожидаются. Возле сторожки костер разложили, греются. Поближе подошел, две подводы заметил, вгляделся и людей

признал—товарищ Корочкин и тот молоденький, который его в Мызине насчет работы опрашивал, Тузов что ли?

Шапку снял, поклонился и хотел в сторонку отойти, да Корочкин воспрепятствовал

— Садись к огоньку, покурить не хочешь ли?— и раскрытую коробочку подает.

Взял Дема папироску и стал уголек доставать, а Тузов ему спички сует:

— Руки сожжешь...

— Нашим рукам ничего не сделается, — Дема словно похвалиться хочет и бурые ладони вывернул. — На наших руках можно репу сеять...

Смеются и к Деме поближе подвинулись. Пошутил Дема, а на сердце вроде как бы полегче стало. Еще как к перевозу шел, собирался от людей подальше и чтобы лишнего языком не болтать, а как тут удержишься, ежели слово кстати.

— Далеко ли? — Корочкин спрашивает.

— На завод, что-то дилехтор наказывал...

— По пути значит. С нами и поедем, мы тоже туда...

Дема не отказывается.

Кучера начали лошадей натрафлять, и паром к берегу подходит. Дема от костра поднялся и тоже возле лошадей суетится, чтобы какую-нибудь помощь оказать. Корочкин с Тузовым прямо на паром прошли и на перила облокотились. Перевозчики с шуточками да прибауточками под комиссара подъезжают, чтобы «на чаишко пожертвовал».

— День и ночь маемся... руки обломились...

Тузов про сознательность завел — «Чаевые, мол, унижают» — и еще что-то, только эта грамота не для них:

— Спокон веков положено... Не мы первы, не мы последни... Для вас трояк, скажем, пара пустяков, а нам без этого штанов не удержать... За гроши работаем...

Покуда полоями ехали, паром как скорлупка шел, а на стрежень вышли, начал носом забирать. Канат по воде рубит, весь паром дрожит, ваги, что колесо, вертят, как лучинки гнутся. Перевозчики изо всех сил грудью напирают, ноги в лаптях не шагают, а двигают; из-под шапок пот градом.

Стрежень пересекли, опять вольготнее, на полоях не так рвет, теперь можно опять язык почесать:

— Ты вот, товарищ, даве како слово сказал, не пристойно, мол, трудящему, а по-моему так нет ничего... Я здесь двадцать годов, на реке-то... Одного этого народа переглядел не есть числа, и все давали и все брали, а ты говоришь... При нашей нужде рази мысленно... У всех нужда? Нет, погоди, кака нужда... Нашу нужду, правильно, ваш брат в кулаке сожмет, а нам и с такой не справиться...

Корочкину, хочешь-не-хочешь, а отвечать надо, потому что старик все время на него поглядывает, а на Тузова с Демой — изредка и то в тех только случаях, когда удастся комиссара «поддеть»: «гляди, мол, мы, тоже не лыком шиты». Корочкин отвечает и старик соглашается:

— Правильно, товарищ, об этом что говорить,— и сейчас же станет про то же да наоборот говорить.

— Что ты все «товарищ да товарищ», — Корочкин смеется, — меня Иван Власыч зовут...

— Так уж, как все говорят... Товарищ, оно сподрушнее, а назови барин — обидишься... При новым-то праве все по другому как-то... А товарищ,

это я не в обиду... Мы так располагаем, поп к примеру, ему не скажешь Николай Петрович, а батюшка, так и вашего брата товарищ и товарищ...

Дема и тут рассмеялся:

— Это верно, Иван Власыч, я сам тоже — у меня все товарищ... намедни по ошибке да Якова Мысеича так-то... страсть не полюбилось...

— Вот и приехали, — старик на Корочкина обернулся: — а на чаишко следуст... Гляди, как робята умаялись, — на молодых парней указывает.

— На чаишко не дам, — Корочкин старика огорчил. — Уж это как есть, сердись, не сердись, кончено...

Тузов от стыда хотел прямо на берег прыгнуть, только старик задержал:

— Сейчас сходни бросют... — а Корочкину:— Дело ваше, силком не требуем... Пуговкин вроде хозяина, а дай бог добро здоровье, всегда дает...

— И плохо делает,—Корочкин на берег сошел.— Вы жалованье получаете? Получаете... Значит, ваш труд оплачен... Гроши? В завком заявление сделай...

— Вот и поговори с таким дьяволом, — старик на Корочкина показал, когда обе подводы стали на пригорок подниматься. — Може, главный какой, парнишко-то перед ним рыбочкой...

* *
*

Корочкин с Тузовым пошли Пуговкина искать, а Дема в завкоме остался. Спросил одного за решеткой, где товарищ Пуговкин, а тот даже в его сторону не поглядел.

«Не надо», — Дема подумал, а переспрашивать не стал. Вышел опять на крылечко и на нижней

ступеньке присел.—«Дождусь»,—думает и от скуки стал на двери бумажки читать, ими вся дверь оклеена. От которых только клочки треплются, другие пожелтели от времени, а на иных и вовсе ничего разобрать нельзя, на солнышке слова выгорели.

Повыше дверной скобы целый лист вывешен, а по нему крупными буквами:

«В шесть часов вечера в заводском клубе состоится техническое производственное совещание. Явка обязательна. Завком».

— Как раз нынче, — Дема догадался. — Повидать бы Пуговкина, а там, глядишь, еще до ночи на перевоз успел...

А Пуговкина все не видно. Если поискать по заводу, да куда ты кинешься. Кого не спросит, тоже не знают; придется ждать, може сам не набежит ли.

Заводский народ не то, что в деревне: там с тобой каждый сам разговорится, если ты впервые покажешься, а здесь спросишь которого, он тебе ни в жизнь сразу не ответит, а сперва удивится, что, мол, тебе понадобилось, а потом уж сквозь зубы процедит: «спроси в завкоме».

— Народ тоже, — Дема рукой махнул.

Прямо перед ним гута, справа и слева домики, все чистенькие и все одной краской выкрашены, все, как подрезанные, даже окошек в каждом поровну. Между «завкомом» и гутой — часовня без креста, а повыше двери, где раньше «Всевидящее око» глядело — красная доска с надписью:

«КРАСНЫЙ ОТДЫХ».

— Штука какая, — Дему надпись ошарашила. Поближе к часовне подошел и на цыпочках в окошко заглянул. Портреты. Это уж везде.

Ленина он сразу узнал, а других — где уж всех узнать. Вот этот старичок — не иначе Калиныч. Да не все ли равно, чей портрет. Повесили, значит, надо. Поверх портретов красное полотно, по которому белыми буквами:

«РЕЛИГИЯ — ОПИУМ ДЛЯ ТРУДЯЩИХСЯ».

— Не иначе про бога, — это он вслух сказал и начал другие надписи разглядывать. Не все только видно, да и понять нет возможности, слова другие: в деревне таких сто лет проживешь, ни разу не услышишь.

— Завод, одно слово...

От окна отвернулся, кто-то вдоль улицы шагает. Вгляделся, так и есть — Пуговкин. Дема к нему — точно родного встретил:

— Дожидаюсь вот... Наказывал, думаю, надо сходить...

— Да, только, Баюнов, не время сейчас... Совещание, видишь, народ собирается... До завтрого остаться придется...

— Раз такое дело... что же, — Дема шапку надел и за Пуговкиным следом пошел. У «завкома» Пуговкин к Деме опять обернулся:

— Приятели есть?

— Приятели? — Дема не понял.

— Ночевать у кого? — Пуговкин снова переспросил.

— Нет, таких нет...

— Ступай к Егору Федорову, — на один домик показал. — Скажи, что я прислал...

И за это спасибо, а то, как в лесу, не знаешь, в какую сторону обернуться.

Егора Федорова все знают. Показали, в какую дверь надо и в какую комнату постучать. Встретил неласково, а табуретку подвинул и стакан чаю налил:

— Пей, а то уйду сейчас... Совещание... нашему брату нельзя...

Пока чай пили, поговорить успели. Егор Федорыч не больно говорлив, а о чем спросишь — все-таки скажет.

— Пуговкин? Мне с ним не робят крестить... У него свое, у меня тоже... Делить нечего...

— Не в том дело, — Деме допытаться охота: — я насчет того, можно ли на такого расположиться...

— А ты что ему, невесту сватаешь?..

Чудак человек.

— Како там... работу обещал...

— В работе, друг, надо на себя располагать... тут уж никто, ни Пуговкин, ни кто другой не поможет...

— Как сказать, другие бывают... У меня, к примеру, какое дело вышло...

Попытался Егору Федорову рассказать, как ему через людей в остроге побывать пришлось и до последнего домашность разрушить. Только видит, что тому слушать не хочется и никакого у человека понятия нет:

— Ладно, — говорит, — вечером доскажешь, а сейчас мне пора...

С полки картуз достал и два раза по коленке ударил, чтобы пыль стряхнуть, а потом уж на голову надвинул.

— Оставайсь здесь, если хочешь, а то на собранье иди...

— Пожалуй, а то больно скушно будет...

В завкоме теперь все по-другому. Столы вынесены, решетка снята, а посередине скамьи одна перед другой; от давешнего только портреты на стенах да часы в простенке. Народу не очень густо, а сесть — места нехватает. Притулился за

печкой, будто и нет его. За большим столом какие-то люди незнакомые, подальше немножко — Корочкин, Тузов и те, что на другой подводе ехали. Сам Пуговкин какие-то ведомости листует, а тот, что в середине сидит, поторапливает:

— Открываю собрание...

Пуговкин только головой мотнул и сразу нужную бумажку вытащил. Кашлянул и впереди стола стал...

Рабочие присмирели и на Пуговкина уставились. Тузов что-то Корочкину шепнул и что-то на бумажке писать приготовился. Дема так с ноги на ногу переступил, чтобы вольготнее слушать было.

— Наша производственная программа за отчетный период потерпела целый ряд изменений по тем или иным причинам, которые были подробно освещены на предыдущем совещании.

Пуговкин говорил громко, четко и немножко сердито. Всем казалось, что этот отчет он делает так себе, между прочим, а настоящая суть совсем не в этом.

Пуговкин также знал, что говорить ему надо для тех, которые сейчас только приехали с перевоза, а теперь сидят сзади его и заносят на листочки бумаги случайно запавшие в голову те или иные выводы, сделанные докладчиком. Не было секретом для Пуговкина и то, что за неделю до этого совещания все эти любезные товарищи «знакомились» с материалами, касающимися данного производства, и «прорабатывали» производственную программу, кем-то, тоже посторонним, выработанную для завода «Красный химик», и вопросы, которые они собираются задавать докладчику, будут как-раз не по существу доложенного, а на основании использованного материала у себя на местах.

— В последнем квартале в нашем производстве наблюдались некоторые перебои, о которых своевременно было доложено куда следует, но все же, если взять работу в общем, годовом масштабе, выработка продукции повысилась на 50% по сравнению с прошлым годом. Желающие получить детальное объяснение по некоторым вопросам могут получить ответы как устно, так и документально...

Пуговкин обернулся назад, ожидая каких-либо вопросов от приезжих. Со стороны рабочих он был в полной уверенности, что вопросов не будет.

Председательствующий постучал карандашом по чернильнице и выразительно посмотрел на присутствующих рабочих, зная так же как и Пуговкин, что не оттуда следует ожидать тех или иных вопросов:

— Внимание... У кого есть вопросы к докладчику?

На скамьях произошло некоторое движение, каждый поглядел на своего соседа с явно выраженной мыслью: «я-то, мол, не стану спрашивать, а вот, кто другой не сунется ли».

Таких не нашлось, и председательствующий снова обратился к собранию:

— Значит, вопросов нет!.. Доклад принять к сведению?..

— Извиняюсь, — один из приезжих привстал вполовину, чтобы заглянуть в лицо председателю. — Доклад товарища Пуговкина слишком интересен и даже, можно сказать, содержателен для того, чтобы принять его к сведению. Ежели я молчал до сих пор, так это не потому, что у меня не было вопросов к докладчику, а просто дожидался, когда будут задавать вопросы участ-

ники в этом производстве... Прошу записать меня в очередь...

У Пуговкина дрогнула левая щека и воротник кожаной тужурки показался слишком тесен.

Сделав несколько кругообразных движений шеей, он успокоился и стал ждать самых коварных вопросов со стороны этого члена.

Записав фамилию желающего «разговаривать», председатель снова обратился к собранию с тем же вопросом:

— У кого есть вопросы?

Егор Федоров через головы сидящих поднял два пальца.

— Записал...

Первым говорил член ревизионной комиссии Малахов. Повторяя чуть не дословно цифровые данные, выписанные еще в тресте, он расширил рамки доклада во всех направлениях: экономическом, политическом, хозяйственно-административном и даже бытовом.

— ...Если рассматривать производство не с точки зрения военного коммунизма, а по линии новой экономической политики, развязавшей руки не только частному предпринимателю, но и руководителям госпромышленности, то достижения данного завода не так блестящи, как нам показал в своем докладе красный директор... Товарищи, я предлагаю вам остановиться...

Оратор начал выдергивать из доклада как раз те места, на которые большинство не обратило внимания, но в распоряжении члена ревкомиссии они приобретали как раз то значение, которое надо было оттенить, и уж во всяком случае не в интересах данного предприятия...

На Пуговкина этот способ «ущемления» производил далеко не благоприятное впечатление.

— ... Особенно следует обратить внимание на то место, где докладчик указывает на перебои, происшедшие не по вине администрации завода... В чем же выразились эти перебои? Он говорил нам, что положение было настолько серьезно, что угрожало полной остановкой завода... но вот, что́ вызвало эти перебои, докладчик не сказал ни слова...

Пуговкин отлично понимал, что от него требуется признание своих ошибок, вызвавших эти, десять раз подчеркнутые, перебои и лишний раз в присутствии рабочих принять ответственность на себя.

Пользуясь паузой, которую член ревкомиссии выдерживал для усиления впечатления, Пуговкин обратился к председателю с просьбой ответить по существу вопроса.

— На вопросы будете отвечать потом...

Рабочие, сидевшие на передних скамьях, начали перешептываться и довольно недружелюбно посматривать в сторону придирчивого члена.

Не считая Пуговкина «отцом родным», как, бывало, покладистые рабочие величали бывшего хозяина, они все-таки не могли упрекнуть красного директора ни в излишней придирчивости, ни в комчванстве и всего менее — в несправедливости. Теперь они были целиком на его стороне и с нетерпением ожидали, когда он даст отповедь на все обвинения приезжего человека.

Задав еще несколько вопросов, член ревизионной комиссии уступил место Егору Федорову.

— Когда я записывался, у меня было другое на уме, а теперь, послушав первого оратора, я задам директору такой вопрос: какие меры были приняты с его стороны, чтобы миновать эти перебои?..

Пуговкин облегченно вздохнул и, кивнув в сторону Федорова, громко сказал:

— Я скажу...

Тузов спросил — «в какой обстановке протекает работа подростков и малолетних и какой процент в производстве они составляют по отношению к взрослым работникам».

Пуговкин делал отметки в записной книжке и по мере поступающих вопросов становился все более и более спокойным.

Когда больше не было желающих задавать вопросы, Корочкин тоже взял слово.

— У меня нет вопросов к докладчику. Я хочу сказать по поводу вопросов... Мне кажется, что докладчику задан целый ряд таких вопросов, на которые он уже ответил в своем докладе. Не требуют также ответа и такие вопросы, как о причинах, вызвавших перебои в работе, так как об этом имеются самые подробные сведения в протоколах комиссии, обследовавшей производство... тем более, что члену ревкомиссии это обстоятельство должно быть более известно, чем кому-либо из присутствующих. Что же касается товарищей рабочих, присутствующих на этом собрании, для них эти вопросы далеко не новы, так как все эти перебои создавались при их благосклонном участии. — Корочкин добродушно улыбнулся и посмотрел на рабочих. Те, в свою очередь, переглянулись друг с другом и тоже заулыбались:

— Знаем, знаем... Что об этом говорить...

— Который раз все за то же...

Вместе с другими и Дема улыбался. Ему до боли щемили сердце все эти нападки на такого хорошего человека и он невольно сравнивал себя, как тогда на него все взъелись. А кому он плохо сделал? Вместе с другими и он соглашался с Корочкиным.

— Известно, бросить, что это за разговор...

— У меня создалось такое впечатление, — продолжал Корочкин, — что завод находится в надежных руках, что красный директор принимал и принимает все меры для того, чтобы поставить производство на надлежащую высоту, чтобы занятым в производстве рабочим предоставить максимум выгод. Что же касается тех непреодолимых препятствий, как разрешение жилищного кризиса, повышение заработной платы, а особенно снижение цен на предметы первой необходимости — это не зависит ни от административных ни от личных способностей красного директора...

Малахов все-таки настаивал, чтобы Пуговкин ответил на заданные вопросы.

Ответ был дан. Перебои вышли потому, что трест своевременно не выслал денег на предприятие, а завком вместо того, чтобы смягчить этот кризис, постарался поставить директора в такое положение, что рабочие всю ответственность за несвоевременную выплату зарплаты возложили на директора.

Председатель завкома потребовал сло́ва по личному вопросу. В его объяснениях склоки, происшедшей не по вине завкома, сквозило определенное желание обвинить директора в пренебрежении профессиональных вопросов и интересов рабочего элемента.

Выступление предзавкома для Пуговкина было самым обидным. Он хорошо знал, что предзавком льет воду на чужие колеса. В тресте у него был родственник, давно обивающий пороги сильных с просьбой послать его на производство. Ему обещали назначить при первой возможности, и чтобы приблизить эту возможность, он наметил Пуговкина. В разговорах с отдельными

лицами, в газетных заметках все действия Пуговкина освещались как в кривом зеркале, и последняя забастовка рабочих, вызвавшая «перебои», была поставлена на его счет.

Вмешательство Корочкина сразу все опрокинуло. Вопрос о перебоях больше не казался серьезным основанием для обвинения Пуговкина, и надо было что-то другое придумать.

Завком попросил слова после всех:

— Правда, это не входит в порядок дня, но более удобного случая нельзя дождаться — рабочие в полном комплекте, присутствие таких опытных работников из центра поможет нам разрешить довольно щекотливый вопрос... Прошлой зимой директор Пуговкин отдал крестьянам деревни Мызино два поля, примыкающие к их угодьям — Репино и Матюкино. Угодья эти у нас заводом не использовались, отчасти потому, что не под руками, а больше оттого, что не было смысла хозяйственному коллективу обрабатывать. Теперь огороды и под боком, и то не у каждого гряды вскопаны — не двадцатый год... Насчет этого Пуговкин еще при старом завкоме собранье созывал и запротоколено, что поля отдать в интересах успешности работы, по заготовке леса... Правда, на взятку похоже, — завком улыбнулся, — но дело не в этом, тогда всем показалось это на дело похожим, а теперь выяснилось: поля словесным заявлением директора крестьянам деревни Мызина очутились в единоличном пользовании братьев Кокиных, определенно кулацкого типа... среди рабочих неудовольствие... Просят возбудить ходатайство о пересмотре распоряжения товарища директора...

— Один вопрос, — председатель перебил, — у вас имеется письменное заявление?

— Письменного нет, а устных сколько угодно...

Завком стал шарить глазами по задним рядам, отыскивая надежных лиц, которые могут подтвердить сказанное.

В рядах рабочих произошло некоторое замешательство. Поднятым вопросом завком поставил некоторых в такое положение, что так или иначе, а надо будет подтвердить его заявление, а поэтому каждый из них постарался спрятаться за спину соседа, чтобы не встретиться с нашаривающим взглядом завкома.

Председатель собрания молча поглядел в сторону Пуговкина, ожидая от того заявления выяснить этот вопрос, но Пуговкин не делал ни малейшей попытки к своему оправданию, равнодушно играя карандашом. Он даже не думал о том, что новая вылазка против него может сколько-нибудь усилить то неприятное впечатление присутствующих против него после явных придирок товарища Малахова. Равнодушно слушая заявление завкома, он решил сейчас же сделать заявление, что на заводе он больше оставаться не может и будет просить отчислить его в распоряжение губкома.

Для Демы история с заводской землей не была новостью. Поля действительно взяты в аренду от общества братьями Кокиными, но это вышло не по желанию товарища Пуговкина, хошь он и приятель Феклиста, а так мир определил. Поля два года холостыми лежали. В голодную пору на них картошку садили, а теперь на них мелятник засел, только поднять чего стоит, а мужичья сбруя разве выдержит, тут только одни Кокины справятся.

Корочкин попросил слова:

— Какое отношение к успешности в работе по заготовке материалов имеет отдача полей

мызинским?—Этот вопрос он завкому задал, а не Пуговкину.

Завком только руками развел:

— Это не у меня надо спрашивать...

Пуговкин улыбнулся и встал.

— Я скажу... Передача полей сделана мной не единолично, а по соглашению с рабочими. Это первое... Есть протокол собрания. Второе— с арестом Баюнова пришлось подыскивать нового заведующего заготовкой леса. Старший Кокин рекомендовал своего брата Петра. Инженер, заведующий постройкой моста, знал его лично, препятствий не было. Петр с первых дней, когда еще только начались переговоры, стал жаловаться на мызинских мужиков, что дармоеды, лежебоки, работать не хотят и даже не нуждаются в ней. Требовалось так или иначе втянуть их в работу. До меня формально это дело не касалось, но в скорейшей постройке моста я был заинтересован, заинтересован не как Пуговкин, а как директор завода «Красный химик». Отсутствие постоянного моста через реку является не только большим неудобством для предприятия, но вместе с этим удорожает себестоимость продукции. Вот почему я предложил на собрании уступить заводские угодья крестьянам деревни Мызина... Взятка это или просто подарок, я не берусь определить... Пусть кто как хочет, так и думает, оправдываться я не стану .. надоело, а что земля была передана обществу, а не кулакам, это может подвердить, — на Дему показал, — мызинский крестьянин...

Дема в углу завозился, когда на него все собранье уперлось.

Председатель спрашивает:

— Будем обсуждать или примем к сведению?

— Пусть мызинский скажет...

— Все знаем, говорить-то не об чем...

Малахов просит председателя вопрос поставить на обсуждение.

— Голосовать, — кто-то из задних рядов крикнул. — Голосовать, голосовать... — Принять к сведению!

Поднятием рук вопрос разрешили:

— Принять к сведению, а мызинского просить рассказать, каким образом поля к Кокиным перешли.

Баюнов не стал отказываться. Ему что? Дело не только что при его согласии, а без него вышло.

— Кокин меня в острог запятил... Я и не знал ничего. Вернулся, говорят: «Кокины поля перехватили», а какие поля, впервые слышу... Пискунов—у нас старичок такой—говорит: «не по правилу; землю надо миром обиходить»; так ему в глотке заперли: «отдать Кокиным, на кой нам, у нас и своя-то в тягость». Это правильно — на сорок дворов десять лошадей, а тягло теперь сдать — восемь червей с едока спрашивают, тут и от своей откажешься... Народ вот как беднеется... Не случись так работенки на стороне, право слово, по миру пойдешь. . Вы, конешно, по нашему делу ничего не знаете, кусок у вас не жареный, неделю там, али две отмахал, сейчас же гони монету, а нам она вот как солоно достается...

— Это так, а вот что́ ты скажешь насчет угодий, захваченных Кокиными? Как они говорят, поля им отданы или обществу?

— Спервика-то говорили — на мир, а теперь отказываются: «нам, дескать, по знакомству»...

Пуговкин думал о том, что стоит ли ему с такой борьбой, с таким напряжением цепляться за свое производство, когда со всех сторон одни

неприятности. Не лучше ли сейчас же на этом собрании встать и заявить о своем решении оставить производство.

— Товарищи, на этом заводе я работаю четвертый год. Пришел я сюда на пустое место. Не было людей, не было средств и не было никакой организации. Через три года вы видите завод в таком же положении, каким он был в довоенное время. Как прошли эти три года, чего они стоили мне, человеку ответственному за все производство, — никто меня не спрашивает. Что здесь, что в центре мне дают понять, что у меня не все благополучно. Одни перетряхивают мои коммунистические убеждения, другие откапывают хозяйственные недочеты. Похоже на то, что вот, мол, человек совсем закомиссарился, а убрать его нет подходящего повода... Напрасный труд! Найти его всегда возможно, только стоит подойти к вопросу не с такой меркой, с какой подходит товарищ Малахов.

Малахов, задетый за живое, привстал и сделал знак председателю, что он не оставит без возражения выпад Пуговкина.

— В прошлом у меня нет особых заслуг перед партией, участие в гражданской войне и полученные там увечья я не ставлю в счет — это долг каждого рабочего, желающего отвоевать право на человеческое существование, но вот здесь, на заводе, я что-то сделал и сделал в то время, когда наша промышленность лежала в развалинах. Я поставил завод на ноги и только благодаря моей неустанной работе и заботе завод повышает производительность труда и улучшает качество продукции. Вот это — мои заслуги перед Союзной республикой. От них я не откажусь, да и отнять их от меня невозможно. Теперь мои промахи и не-

дочеты. Их много. Даже искать не надо, но все они допущены в силу объективных условий, и миновать их я не сумел при всем моем желании. Я пойду дальше и в некоторых, признаюсь сам, допустил сознательно... Лозунг—«на экономический фронт» я понял по-своему. Во что бы то ни стало надо было возродить разрушенную промышленность, иначе говоря—создать из ничего экономический базис, на котором предполагалось заложить основы социального строительства. В наших условиях эта задача казалась особенно трудной и недостижимой, но поставив перед собой безоговорочно — надо! я справился с этим вопросом. Вы можете спросить: как? На это я могу ответить только одно — всеми способами, имеющимися в моем распоряжении, начиная с нагана и кончая товарищескими договорами... Вот повод убрать меня с производства для тех, кто этого добивается. Но это еще не все, я могу сделать дополнительные признания. До сих пор я неуверен, что все рабочие, занятые в нашем производстве, созрели для того, чтобы роль хозяйственника в производстве оставалась только идеологическая. Нет, здесь еще требуется крепкая, а подчас и суровая рука красного директора. Об этом я не намерен умалчивать ни перед центром ни перед самими рабочими, присутствующими здесь... Значит, поводов к моему увольнению сколько угодно и только вопрос за тем, что выгодно ли будет это увольнение для промышленности вообще и для рабочих нашего завода в частности? С своей стороны я считаю, что та чистота и согласованность в отношении рабочей силы, какую мы мечтаем ввести при более устойчивых социальных формах, в настоящее время недостижима. Мы все еще остаемся нищими и полуголодными,

и не признаваться в этом было бы крайним лицемерием...

Пуговкин сказал все, что ему казалось нужным сказать, но где-то в глубине души у него осталась затаенная горечь, не только не высказанная, но и для самого еще не оформленная и не приведенная в ясность. Это не обида за несправедливые нападки, по его мнению, не личная неприязнь к завкому и Малахову, а след каких-то крушений, намечающихся независимо от него во всей дальнейшей работе по укреплению социального строя.

Председатель объявил перерыв.

Рабочие столпились у выхода молчаливые и сосредоточенные. Первый раз за три года они узнали своего директора и каждый в душе простил ему все то, за что недоволен был им в течение этих трех лет.

Корочкин подошел к Пуговкину и стал говорить не о том, что только сейчас было высказано директором, а совершенно о посторонних вещах, чтобы к возобновлению совещания дать ему возможность успокоиться и более трезво взвесить свое поведение.

Дема Баюнов был целиком захвачен речью товарища Пуговкина и не знал, что ему делать в своем углу. Для него ясно было одно, что вот этого хорошего человека, кто-то подъедает со стороны, что у него тоже имеются враги, так же как и у него Демы Баюнова, и что значит человек, вообще, без этого обходиться не может.

Сочувствуя Пуговкину, Дема не забывал и своих интересов: Пуговкин намекнул, что он не будет цепиться за производство и может оставить его когда угодно, если это потребуется, но как же Дема? Зачем же тогда Пуговкин призывал его и обещал работу?

«Пятиминутный перерыв» длился около получаса, и когда рабочие снова заняли скамьи, Егор Федоров от имени заводских рабочих сделал заявление, что:

— Рабочие стеклянного завода «Красный химик», присутствуя на производственном совещании, отметили: во-первых, разговор о том, хорош или дурен директор, знают рабочие, и в том и в другом случае они могли бы заявить куда следует, во-вторых, если товарищ Пуговкин действительно оставит производство, то мы не уверены, что налаженная работа не потерпит ущерба, а поэтому все рабочие просят собрание отметить заслуги товарища Пуговкина и вместе с нашим заявлением направить куда следует.

III

Утром Дема чуть свет проснулся и стал дожидаться, когда Егор встанет. Рядом за стеной часы шесть раз пробили, Деме больше терпенья нет:

— Лежи, не лежи, а вставать надо,—будто про себя тихонько, а Егор голову поднял:

— А сколько время, не знаешь?..

— Сёмой пошел...

Привстал Егор немножко и опять в подушку ткнулся:

— Еще полчасика полежу...

— Живете не торопитесь, — Дема с насмешечкой. — Правильно, не на пашню ехать...

Ничего Егор не сказал и только уж потом, когда одеваться стал, говорит:

— У вас, мужиков, глаз завидущий. Всем хорошо, только вам плохо...

— А ты, Егорушко, к сердцу не принимай, я это шутки ради, и к слову, так сказать...

— И я к тому же,—Егор не сердится.—Мужик, он такая нация... Рабочие! что им? Не жнут, не пашут...

— Ты зря все,—Дема что и сказал, покаялся.—Чего мы смыслим в вашем деле?.. Сболтнешь так вот, не знамо к чему, ну и все...

— Не завидуй, Баюнов, нашему брату, не сладко нам кусок достается.

Покуда Егор в соседнюю камеру за кипятком ходил, Дема себя опять обругал: «дескать, надо бы язык покороче держать», а Егор как ни в чем не бывало два стакана на стол и Дему чаем потчует. Не стал отказываться, у окошечка примостился, хозяину в глаза глядеть стыдно: «я его обидел, а он, на-ко — чаем поит...»

За чаем разговорились и про вчерашнее вспомнили:

— Вот, он директор, — Егор про Пуговкина:— а видел, как на него засели?

— Не улипеть, пожалуй,—Дема куда-то на сторону головой кивнул.

— Не в этом дело. Пуговкин не такой человек, его этим не испугаешь.. Ты думаешь он цепиться станет? Плевать ему больно... Вот нам без него другое дело... Пришлют какого чорта, его и с шеи не скачаешь, а к этому мы привыкли...

— Человек с понятием, что говорить,—с этим и Дема согласен.—На суде подошел, говорит...

— На каком суде?

— А вот, когда меня судили, чай, слышал?.. За Кокина... Говорит: «Баюнов, обидели тебя... Не вешай голову... Работу найдем. Приходи после праздника». Пришел, а тут вон какое дело...

— Да, как еще дело обернется...

После чая Егор на завод пошел, а Дема в контору, чтобы Пуговкина устичь.

Покуда на крылечке сидел, в голове тысяча дум побывала. Чего только в голову не пришло. Давно ли, кажется, он подряд брал, а если подумаешь, каких только историй не вышло. Дыры, действительно, кое-где заткнул, но за это время другие прорехи обозначились. Мало того, что с острогом спознался, последней коровенки лишился. Не лучше ли было поближе к печке держаться. Зиму, глядишь, как бы ни то перебились, а весной все не так страшно. Подработать у того же Кокина возможно. Бросить бы всю эту музыку, — Дема подумал, — да к земле вплотную прижаться, а то вот бегай за хвостом того же Пуговкина, а удастся али нет еще...

Теперь по его расчету вполне бы можно возле земли держаться: хлеб в цене, начальство особенно не прижимает. Главное обзавестись трудно. Ежели корову завести—не под силу, а об лошади и думать нельзя. А в голове все-таки — лошадь, корова. На дворе в яслях овцы копошатся. Соседи безлошадники: «Дементий, не оставь, бога ради, убери тягло...» Четыре едока, по семи червей, само-малое, и то денег-то, денег-то!.. У Демы сердце зашлось:

«Где уж, — вздохнул горько-на-горько, — на Варваре пахать не выедешь...»

А Пуговкин все не показывался.

«Спит после вчерашнего», — Деме в голову пришло. Хотел уж к главному дому итти, только возле гуты какой-то человек не из рабочих. Дема с крылечка сошел и сзади песок отряхнул. Так и есть—Пуговкин.

— Меня ищешь?

— Сижу вот, не пройдешь ли где...

— Видишь, как дело-то вышло...

— Как не видеть... Подъедают, прямое дело...

— Подъедают, говоришь,—Пуговкин смеется,— только не меня подъесть, у меня самого зубы вострые...

Пуговкин засмеялся, и Деме веселее стало. Значит, еще не так страшно, если Пуговкину смешно.

— Ты что думаешь, если Пуговкина выгонят, так он себе работы не найдет?..

— Как тебе не найти, — с этим и Дема согласен: — куды ты ни сунься, все дружки да приятели...

Пуговкин брови нахмурил. А Дема про себя подумал: «опять не то бякнул».

— Не в этом дело,—Пуговкин от Деминых слов, как от мухи, отмахнулся.—Дружки-приятели—слышал, как на собрании?

— Худой человек навяжется, от него ни крестом ни пестом,—Дема сочувствует...

Так они вплоть до «хозяйского дома» дошли и говорили каждый о своем. Пуговкину хотелось, чтобы Дема из вчерашнего настоящий вывод сделал, кто прав, кто виноват: «ведь все время торчал на собрании», а Дему совсем другое занимало: прав или нет Пуговкин — это его не касается, а вот если Пуговкину ножку подставят, тогда и его интересы пострадают. Главное, теперь с работой— неделя-другая, а там опять зубы на полку, а раз Пуговкин обещал, тут уж верное: «Може на всю жизнь кусок хлеба»...

На Пуговкина он все-таки удивляется: человек на линии, такое место, а ему хошь бы что. И то сказать—человек образованный, один как перст, ни за ним ни перед ним, как говорится, и бояться нечего. Это не Демино дело, ему не только о себе, а о целой ораве надо обдумать: дети, Варвара, хозяйство какое ни на есть.

— За себя я не боюсь, Баюнов, — Пуговкин снова начал, когда они в кабинет взошли. — Большевик о себе не плачет... Знаешь, кто такие большевики?

— Как не знать, — Дема улыбнулся, — их ова брата мы вот как знаем...

— Кто они по-твоему?

— Как, кто? — Дема удивился, — народ известный... Бывало, в деревню приедет насчет продналога, али какой повинности, уж он говорит, говорит...

У Пуговкина брови опять сошлись:

— Так «говорят» значит, — Пуговкин на Дему опять повеселее взглянул.

— А то как же, — Дема не знает в чем дело, — на это поставлены...

— Кем?

— Начальством, известно...

— А начальство из кого по-твоему?

— А кто его знает... Нам отсюда не видно... начальство и начальство... Вот когда на фронте, так всех знаешь, а тут, где уж нашему брату...

Пуговкин за столом задумался и хорошенько Деминых слов не понял, только что-то про фронт запало.

«Что, он всегда такой, — про Дему подумал, — или просточком прикинулся?».

— На фронте тоже этих большевиков не есть числа было, — Дема опять про свое: — только там некогда разбирать, большевик ты али кто другой. Как пойдут, бывало, белые али басмачи жучить — всем одинаково... Товарищ Потапов в нашей бригаде за главного, а я у него вроде рассыльного, посмеется только: «Ну, Баюнов, держись, с большевиками из одной чашки хлебаешь...». А домой вернулся, опять за свое и с большевикам никаких делов нет...

— Значит, каждый опять из своей посудины?

— А то как же...

Пуговкин хотел с Баюновым насчет этого поговорить, да только время не подходящее, лучше уж с одним покончить, а там случай подвернется, можно и Демой заняться. Теперь уж и Пуговкин видит, что Дема вовсе не так прост и прикидываться тоже не старается, а весь как есть, таким и бери.

— Так вот, насчет работы... Вы когда думаете лес сплавить?

— На той неделе обязательно. Дольше никак нельзя, Яков Мысеич папирает и народ разбегается... Пахать начали...

— Кончай, а потом на склад, посуду стеречь...

— Сделай милость, вот как благодарны будем...

— Склад у нас на станции... Кули с посудой под навесом свалены... Таскают...

— У нас этого не позволим... Все будет в сыхранности...

— Жалованье небольшое, это ты знай, а дальше видно будет...

— Благодарим покорно, нам бы только на хлеб хватило!

— Ступай в завком, скажи, что директор велел сторожем зачислить...

Дема под собой ног не чуял, когда домой обратно шел. Теперь снова все по-другому казалось, и лес и поле точно приветливее, на перевозе перевозчики и те другие.

— Не задерживай, робя, когда ему парома дожидаться... Тимка, пересунь на «душегубке».

«Дай бог добро здоровье, — Дема подумал, когда с Тимкой в „душегубку“ усаживался,—сколько еще этого народа хорошего...»

На середке ботничек закачало. Волны одна на другую лезут. У Тимки весло, как перышко, на Дему глядит только зубы скалит, а лицо так и разъезжается. Сразу приметил, что Дема струхнул.

Страшновато без привычки, это правильно. Дема еще ребенком помнит, как ему дедушка говорил: «Огонь да вода, человеку — беда».

А теперь особенно ему умирать нет расчета. Если бы это когда в тюрьме сидел или без хлеба маялся, а теперь, спаси господи, есть на что упование возлагать. Только ни с кем теперь болтать про свою удачу не станет.

На другой берег поглядел. Далеко. А тут ветер наперерез кинулся. Тимка вверх по течению забирает, лодчонка носом заклевала. Со стержня выбились, у Демы от сердца отлегло:

— Немилость божья — хоть за кустик ухвачусь...

А Тимка своим «перышком» играет и только вперед глядит чтобы на корягу не нарваться.

— Вот и приехали, — и первый на берег выскочил.

Дема только тогда успокоился, когда за ольховый куст ухватился и одной ногой на берег стал.

— Ну и божья воля, — на реку показывает.— Спасибо тебе, Тимофей, — и начал в карманах рыться, будто за перевоз ищет, а у самого нет гроша расколотого.

— Чево ты там роешься, — Тимка заметил.

— Да как же, чай за перевоз надо?..

— Будет тебе, купец какой...

— Ну, ладно. — И Дема согласен. — Ежели так, конешно, народ мы небогатый, что и говорить, а за труды следует...

Тимка не стал дожидаться и от берега оттолкнулся. На корме сидит, у душегубки нос вздернулся. Волны под нее белую гриву прячут. У Демы на берегу голова закружилась. На бережок присел, с Тимки глаз не сводит: «Будь бы деньги — такому двугривенного не жаль», — про себя подумал, а тому вдогонку крикнул:

— На станции будешь, чай пить заходи... Спроси сторожа Дему Баюнова — тебе каждый покажет...

* *
*

Николе Вешнему все Синоборье празднует. Мызино тоже справляло. Нынешней весной подработали, беднота и та зашевелилась. Панины—ребята народ трезвый, а для праздника тоже выпили.

Пискунов мало пьет, а с пьяными и он пьяный, то к тому, то к другому подъедет и тоже куражиться начнет.

У Кокиных гости были. У Феклиста из города, а к Петру предвик с женой. После обеда под окно вышли. Жены на завалинку, а мужики к мужикам, что у пожарного сарая сгрудились.

Пьяны, пьяны, а предвику «мое почтение» и на мосточке место дали. Сперва все по-хорошему про то, про другое: «как, мол, чего новенького не слыхать ли?».

Предвик тоже не молчит:

— Какого, дескать, новенького дожидаетесь...

— Насчет полей, к примеру,—Пискунов сунулся.

— С полями покончено, — предвик говорит, — по вашему желанию... За Кокиными...

— Кончено, да не совсем, — Гаврюха Панин крикнул.

— Как это? — предвик на Панина смотрит.

— Да так... отбой Кокиным...

— Никак невозможно... Протокол есть, печать председельсовета, это тебе не филькина грамота, — Петруха смеется.

— Спроси Баюнова, если не веришь...

— Буду спрашивать! Баюнов? Легко ли дело, Баюнов, на какого человека показал...

— А Баюнов откуда знает? — предвик Панина пытает.

— Чай он на собраньи сам слышал... таким не полагается. Через них и Пуговкину влетело...

— Слушай ты его,—Петруха на Панина рассердился:—трепло был, трепло и есть...

— А ты Петруха, не очунь, землю, брат, отберем...

— Отберем, ты што ли?..

— Я не я, а утрешься, да!

Предвик, конечно, не верит, раз на сходе постановили, а все-таки Баюнова не мешает спросить. Пальцем поманил, спрашивает:

— Говоришь, сам слышал?

— Ну да, слышал... По нонешним правам, вишь, не полагается, на мир землю вернут...

Петруха на Баюнова кинулся:

— Мелет не знамо что... Какой тебе дурак поверит... Сходил, потрепался там, да и здесь православных мутишь...

Дема особенно в задор не лезет, а то, «чорт его душу знает», как бы опять на растакую мать не наскочить.

— Что ты, — говорит, — как кобель лаешь?.. Я тебе ни слова не сказал... Земля? Зачем она мне, я, може, и от своей откажусь...

— Это твое дело, — Петруха кривляется.—К Пуговкину подлизался, он тебя приказчиком сделает... Предвика видит, что дело на правду похоже, на общество попенял, «надо, мол, все подумавши де-

лать, а то вот сами же постановили, а без греха не обойдешься».

Те, что Кокиных руку держали, на Пискунова жалуются:

— У него каждый день сход. Каждый день все новости...

Пискунов не сдается:

— Народ мы обчественный, кашу есть и то из одной чашки...

— Дурачком нечего притворяться, а за то, что деревню смутил, за это, брат, отвечать станешь...

Семен Осокин редко говорит, а тут и он вмешался:

— Пискунов тоже не за себя хлопочет, а если земля не по праву, так ты хошь говори, хошь не говори — все на свежу воду выплывет...

Предвика сам с этим согласен, только одного не понимает, что̀ мызинское общество с этими угодьями делать станет:

— Не под руками, это первое, время упущено — второе, а потом и то не забывайте, Кокиным за работу уплатить придется... Трудились тоже...

— Насчет этого погодить придется, — старший Панин не соглашается. — Было время и мы на Кокиных поработали и за труды не спрашиваем.

— Этого, брат, нельзя, — предвика хмыкнул, — советская власть не велит озорничать, да! Мало ли вы там что...

Баюнов в стороне стоял и про себя думал, что как это хорошо, что у него в земле нужды нет. Завтра утречком уйдет на станцию, будет знать свое дело, будет получать положенное, и ничего такого ни знать ни ведать не станет. Пискунова и других ребят ему жалко, но ведь, останься и он в деревне, все одно легче не будет. Главное, народ измотался, все из рук валится.

Вечером от Пискунова за Демой прислали. Нехотя, а пошел. Только на порог показался, а ему в десять голосов:

— Ты, что, брат, отлыниваешь? Через тебя пошло, давай, доводи до дела...

— Что через меня-то? — Деме не полюбилось,— дело мирское, как мир хочет...

— Вот и давай обдумывать, как бы поумнее дело обмозговать...

— Я, робяты, ломоть отрезанный, нынче здесь, а завтра меня не будет, уж вы, как хотите сами, без меня...

Не полюбилось мужикам, каждый подумал: «вот, мол, нофартило человеку, он и знать не хочет. Пройдет годок - другой, да если удача постигнет, деньжонок сколотит, а в деревню вернется, такой же пес будет, как и Кокины».

Огляделся Дема, ну и публика! Пискунов, Балявин, братья Панины, Андрей Коротков, Тумак, Василий Дупель, Игоха Фомин—один другого чище.

— Ничего не выйдет, — так он про себя решил, а мужикам говорит: — Надо и то рассудить: взять— мы возьмем, ну, а дальше-то? и пахать, и сеять, а осень придет, продналог готовь, а откуда спрашивается? Господи благослови, пахать наймом, семян, хошь овса что ли, купить надо, а капитала у нас сами знаете...

— Нет, Дементий, мы не так рассудили, — Балявин поперечил.—Вспахать—это правильно, нанять придется, а что семена — это справимся, тот же земотдел в ссуду отпустит, а если бог приведет урожай собрать, на ноги встанем...

Да разве Дема спорит, что ли, дай бог, только ему теперь ни к чему в это дело втягиваться. Главное, место выходит, не отказываться, а что если у них дело выгорит, так чего лучше...

Тут же постановленье сделали в волостную ячейку человека послать «обо всем рассказать в подробности» и через вик у земотдела семян просить.

Дема до конца просидел, слушал, как мужики на будущий урожай зубы точили и как это у них сразу дух поднялся.

«Что ни говори, а на миру и смерть красна», — это он про себя подумал и в груди что-то теснить стало. Вот ему, к примеру, о чем больно печалиться, идет не баклуши бить, дело повернее, чем урожай будущий, а все-таки словно на тот свет собирается.

Совсем-было загрустил, да как вспомнил, что через это может-быть от него нужда откачнется, ну и отошло маленько. Завтра ему склад принимать.

— На сколько тысяч товару одного, а, главное, работа не на день, хорошо себя поведешь, може, дни тут окончишь...

— На кого Варюху покинешь? — Тумак спрашивает, и не со зла, или в насмешку, а просто по-приятельски зубоскалит.

— Не оставь, сделай милость, — Дема смеется и перед Тумаком шапчонку снял.

— Доверь козлу капусту—Пискунов пристал,— он, брат, не побрезгует... У него рука не дрогнет...

Шутки шутками, а расходиться надо.

«Плохо ли, хорошо ли, а с деревней шабаш, — Дема как только на улицу вышел, это сразу подумал. — Будет, помаялись. Живут же люди, вот хошь этих рабочих взять, а мы все боимся от земли отвалиться... Как это?»

На двор взошел, тишина, ни в одном углу не журукнет. Бывало хошь корова пыхтит, а сейчас, что-то и кур не слышно.

«Как есть бобыль, только что племя пустил... Нет, пусть ей пусто будет»,—про деревенскую жизнь вспомнил.

* *
*

Данилов двор в Починках Панихиным прозывался. Панихин и Панихин, а почему — никто не допытывался. Бывало, еще отец Данилы все нет-нет да и вспомнит о какой-то баушке Панихе, а как умер, так и кончено. Тоже вот Николай Буренин, пока жив был, баушку Паниху помнил:

— Саламон, а не баба — царство ей небесное. На барском дворе жила, а деревню помнила, чуть што, всегда за нашего брата... И петля была, не тем будь помянута...

Как-то раз дед к Даниле зашел, умирать собирался, так «на смерть» попросил лапти приготовить, а Санька в эту пору печку топила и все то того, то другого парнишку окрикнет:

— Колька, вставай, будет тебе тянуться, надо скотине воды наносить...

— Кирька, ты у меня будешь кошку мучить? Брось, говорю...

А дедушка Николай все от порога слушал да к Саньке приглядывался, а потом и говорит Даниле:

— Эта у тебя вся в Паниху покойницу...

Мальчишки переглянулись, фыркнули:

— Па-ни-ха-а!..

Сперва дома, потом на улице, да так и пошло— Санька Паниха да Санька Паниха.

В самый Егорий Санька до света встала: надо было до выгона печку протопить, на мирской молебен поспеть, а к обеду на станцию две четверти молока отнести, корова с новотела, доит хорошо, а укоп беречь негде: погреба нет да и посуды не-

хватает. В других местах все сепараторы, там этого ничего не надо — в пять минут и масло готово а в Починках еще не додумались.

Перед станцией на бугорке отдохнуть присела. День ведряный, земля давно просохла, по высоким местам пахать начали. Глядела и радовалась, а на что и сама не знала. Все, куда только ни поглядит, одно другого лучше: кочка, на которой сидит, березка с молодыми листочками, да чего уж, крыша на станции и та по-праздничному.

— Хорош вольный свет,—зачем-то вслух сказала и что-то так больно за сердце ущемило, терпенья нет — плакать захотелось. А о чем плакать тепер? Живут они «слава богу», с нуждой кое-как справились. Худы ли, хороши ли, на дворе две скотинины. Отец с Киркой на мосту работают, неделя прошла — десять рубликов. Колька возле земли не дремлет, а про нее самое и говорить нечего — везде поспевает.

— Кабы матушка покойница поглядела...

Вот в этом вся и штука. Оттого Саньке и плакать захотелось, что помимо хотения покойница вспомнилась, а вспомнилась потому, что поверх заводского бора колокольну приметила, возле которой мать похоронена. Поплакала и будет, надо сперва молоко продать, а там, как хочешь. С кочки поднялась, юбку отряхнула, рядом мочажинка не высохла, Санька ноги ополоснула: мимо посудного склада пойдет, а там всегда «ступа не толченая», возчики, грузчики и каждый день Саньке что-нибудь да отмочат, никогда не пропустят.

Одну четверть у нее еще не доходя до станции ремонтные рабочие купили, а с другой походить пришлось. Везде побывала, где раньше брали, а теперь никому не надо. Кое-как половину скачала, а все-таки со штоф осталось.

— Возьми, барыня, остаточки, — кассировой жене предлагает.

— А чья будешь?

— Ну вот, словно впервые... Паниха, сама видишь...

— Откуда, спрашиваю...

— Из Починок...

— Нет не надо... у вас эпидемия...

— Што ито, спаси бог, — Санька не верит. Эпидемия, эта такая штука, не приведи господи. Вот тогда и мать померла, все толковали — эпидемия да эпидемия.

— У нас только в двух домах валяются, — постаралась кассиршу уверить.—Это вот в Мызине, говорят, валом валит...

— Нет не возьму... не надо... в другой раз...

Так и не взяла.

Горе Саньку взяло. «Ну куда она с ним денеться?». А потом пустое ведро с коромыслом за спину закинула и наплевать решила — «теленку выпою».

Мимо склада шла, по сторонам не глядела, чтобы какой абармот не привязался, только у последнего штабеля кто-то потихоньку окрикнул:

— Сань, отдохни, присядь...

— Гляди-ко, батюшки! — Санька удивилась:— Дементий Парфеныч...

— Он самый... Здрастуй... А я тебя который раз вижу, словно ты, думаю, а увериться не могу... Пойдем в холодок,—под навес показывает.

Сели, а разговор ни тот, ни другой не заводит, только Санька про молоко вспомнила:

— Давай посудину, я тебе молока налью...

— Спасибо, што ты...

— А ты полно, давай знай...

Про посуду что говорить. Вон ее сколько, выбирай любую. Только нонешний народ пошел, бог его знает что. Все брыльком да швырком норовит.

— Вон эти ящики,—Дема к забору показал: — все брак один. Понесет куль говоришь: а ты бы поаккуратнее, а он: «ну его к растакой матере, мало у нас этого добра»... и швырь. А товарищ Пуговкин бесится. «Ты говорит глядеть должен», а что я с ним сделаю, народ ножовый...

Дема из ящика банку достал, «с трещинкой», и тут же сполоснул из бака с кипяченой водой.

— Это Пуговкин для своих устроил, — Саньке на бак показывает: «Ты, говорит, гляди, чтобы сырую воду не пили». За день-то раза три вскипячу, все выглохтают...

— Не улилось, — Санька в ведро заглянула, — давай еще...

— Куда мне, — Дема улыбается: — мне и этого заглаза...

Сели в холодок, поговорили с минутку.

— Ничего бы работа, только скушновато бывает, — Дема про себя рассказывает. — Сидишь, сидишь другой раз, не с кем слова сказать, только и держит, что у Пуговкина доверие...

— Домой-то ходишь ли?

— Где там... За нужным делом не отвертывайсь, чуть что и пожалуйте...

— Одному не углядеть. А все-таки итти надо. Прощай Дементий Парфеныч...

— Прощай, Саня, спасибо тебе...

— Вот ищо...

— Заходи, когда...

— Зайду как-нибудь...

Санька еще угол не обернула, а Деме жаль стало, что поговорить не удалось. Впереди одно

и то же: кули, ящики, крыши каленые, от земли нефтью воняет, а главное один и нынче, и завтра и после завтра, и так на много лет.

Не утерпел и вслед за Санькой кинулся:

— Саня, подожди-ко... Може тебе баночек надо... Взяла бы...

В ящике с браком порылся и опять к ней:

— Ты не стесняйся, это мне дозволено. Сам Пуговкин не препятствует.

Две выбрал и к свету поглядел и зачем-то ногтем пощелкал.

— Возьми, дома пригодятся... Все тоже домой собираюсь, да никак время не выберу, говорят, баба у меня хворает...

— А на какого это покинешь, — Санька на склад показала.

— В этом и дело. На троицын день два праздника, може отец сменит? Поговори, Саня.

— Что ему не сменить. Оба с Кирькой придут...

— Скажи, сударка...

До троицына дня две недели осталось. За это время много воды утечет, а как ты раньше выберешься — дело большое, хошь эту посуду взять, кое-кому тоже не доверют. День-деньской бродит, бродит по складу, там пометет, там кули переложит, там бой надо в ящики сгрудить, так время и идет. А тут, глядишь, обоз, нужно место указать, там погрузка и все до Демы касается.

На другой день товарищ Пуговкин проезжал, Дему заметил издали:

— Эй ты, подрядчик отставной, — еще с телеги крикнул: — поди-ко на минутку, — а сам смеется и Дему пальчиком манит.

Не полюбилось Деме, что директор его несчастьем попрекнул, а все-таки из-под навеса кинулся:

— Правильно, — говорит, — был да ехал...

А Пуговкин ему руку подал и по плечу похлопал:

— Ничего, ничего, Баюнов, такое дело с каждым может случиться... Вот теперь и я скоро отставной директор буду...

— Не может быть, — Дема его словам верить не хочет.

— Что мне тебя обманывать...

— Как же я теперь?

— Как был, так и останешься... Сейчас мостом ехал, приятели поклон передать велели... Говорят: что он там с крысами воюет, шел бы в артель... Чуть не пол-Мызина на постройке, а этот... из Починок, как его?..

— Данило, что ли?

— Ну да, он. Мы, говорит, его и сейчас вспоминаем, чуть что, — эх, Демы-то нет!.. Ты, вот что, Баюнов, добудь ты мне кипяточка, мы с тобой до поезда чайку попьем... Жара, просто терпенья нет...

Ну, что это для Демы, покурить и делов всего. Под куб два сухих полена подбросил, из ящика два стакана вынул и под навес порожний ящик опрокинул. Для Пуговкина свою табуретку поставил, а для себя чурбак подкатил. Покуда Пуговкин с кассиром насчет билета договаривался, у Демы кипяток поспел, только чай заварить не в чем, а у Пуговкина, где-то в чемодане заперт.

«Такого человека и то отставили», — Дема все за Пуговкина сокрушается.

Минут через пять и директор вернулся:

— На-ко, заваривай, — Деме голубой чайник подал, — только сполосни сначала...

— Уж будь покоен, все сделаем...

Покуда за кипятком ходил, у Пуговкина на столе и закуска появилась, а под табуреткой посудина

по самое горло бумагой обернута. У Демы в животе засосало.

«Вот бы не вредно стаканчик-другой пропустить...»

А Пуговкин чисто у него на уме побывал:

— Раскопай-ко парочку, — на кули показывает и на вершок от стола примерил.

Деме два раза говорить не надо, понял сразу, что требуется. Достал два стаканчика и фартуком пыль вытер:

— В самый раз будут?..

— Вот, вот, — Пуговкин согласился и стаканчик стал на свет разглядывать.

— Откуда ты их достал?

— Вон из того штабеля...

— Из ташкентской партии. Вот, Баюнов, гляди, — Деме стакан передал: — стакан и стакан, а догляди бы я на месте, браковщику штрафа не миновать... Да! Сукин сын, посылаем первую партию, а он браку напихал...

— Я что-то не вижу..

— Ну как это не вижу? Гляди, это что?

— Пузырек и пузырек... а то мотинка.

— В том-то и дело... Тут пузырек, тут мотинка, а заводу конфуз .. Вот она, скажут, советская продукция...

Дема, конечно, до таких тонкостей не доходит, а если Пуговкин сердится — значит есть за что.

— Уж это как есть, — с Пуговкиным соглашается, — скажут обязательно...

Пуговкин возле ног бутылку нашарил и оба стаканчика по края налил:

— Крестись! — Деме на посудину подмигнул и живым манером свою в рот опрокинул.

Дема все церемонится, не хочется показать, что и ему выпить охота, будто нехотя к ста-

кану руку протянул и на последние слова Пуговкину отвечает:

— Крестись, говоришь? Нет уж, отвыкать стали. Другой раз обедать садишься и то позабудешь лоб перекрестить. Ну, будьте здоровы!

Допивали из бутылки уж без особых церемоний, перекидываясь редкими словами. Пуговкин пил быстро и деловито. Дема — медленно, с закатыванием глаз и бульканьем в горле. И только за чаем разговор повели, как следует.

— Злые-то люди везде есть, — Дема Пуговкина жалеет. — Каждый норовит все к себе мякишем поворотить... Так уж говори, в народе правды не стало...

— А была? — Пуговкин будто всерьез Дему спрашивает.

— Сказывают, раньше лучше было...

— Сказывают!.. Брось, Дема, что раньше, что теперь, человек все тот же остался. Не в этом дело... Ты вот думаешь: Пуговкина обидели, завод отобрали и остался Пуговкин, вроде как рак на мели... Нет, Дема, не в этом дело. Пуговкин везде Пуговкин. Пошли на производство — ткачем буду, пошли на пристань лес грузить и это не страшно; обидно—дело станет... Пришлют какого-нибудь, все не так да не эдак покажется. Начнет ломить да карежить, на свой аршин мерять, а я тут жизнь положил, только видишь ли у меня уклон оказался...

— Что там говорить, — Дема только рукой махнул. Какой такой «уклон» у товарища Пуговкина, не его ума дело, а что жаль человека — этого не скроешь. Главное, и в этом деле у Демы проруха вышла. Поступал сюда, думал «век свековать». А вот уйдет Пуговкин, какого еще чорта пришлют, а то скажет: «получай расчет!» — и опять на все

четыре стороны. Нет уж, видно, плохо человеку, которому не повезет...

— А тебе-то что беспокоиться? Как работал, так и будешь работать...

— Где там! Больно негодных-то людей много стало... По гроб жизни не забуду, как меня в острог забякали...

— Ты еще все помнишь?

— Ах, товарищ Пуговкин, да как же? Только подумать надо — в разор-разорили... Что я теперь: ни коровы, ни лошади! Какой я житель, спрашивается?

— У меня, Баюнов, тоже: ни коровки и ни лошадки, — Пуговкин смеется, — а жить надо ..

Чаю напились, бутылка распита, разговор не клеится, каждый стал про себя думать. По Деминому выходит, что Пуговкину особенно и задаваться нечего: «ни за ним, ни перед ним не пищат, ни верещат, сам себе господин, никто хлеба не просит». Вот его — другое дело! Не дай бог от должности отрешат, на кого надеяться? У других хозяйство, родня поддержит, а тут, случись такое несчастье — с голода подохнешь, никто куска хлеба не кинет.

Пуговкин тоже думал, но не о том, о чем Дема. Если бы дело только за куском хлеба, особой беды нет, тут другое задето — дни, недели, месяцы, кинутые в революцию, Пуговкину казались топливом, а сама революция — костром, от которого взвивалось яркое пламя не только над советским союзом, а над целым миром. Теперь ничего этого нет — ни дыма ни пламени. На месте костра осталась куча углей, перегоревших, покрытых тонким слоем седого пепла.

Время от времени белый покров его вздрагивает, под легким дуновением обнажая скрытую сущность живительного огня, от которого питаются

он — Пуговкин, Чулошников, Корочкин и сотни тысяч других, когда-то кинувших в него дни и годы, как и он, Пуговкин..

Надо ли жалеть их? Нет. Пуговкин не жалеет, но странно только то, что, грея и радуя временными вспышками, скрытый под неплом жар больше не казался чем-то обязательно однородным и каждый воспринимал его по-своему.

Для одних он казался слишком слабым, для других — нестерпимым зноем, ненужным расходованием извечных сил живого огня.

В этом была сила и слабость огромного коллектива, регулирующего общественный труд и общественные взаимоотношения.

Через десять минут поезд подойдет к станции. Пуговкину надо взять билет и уложить вещи. Выпитая бутылка полетела через забор, а дорожный чемодан снова замкнулся на все пряжки.

— Ну, так, Баюнов! Особенно не вешай голову, ежели что — работу найдем...

— Не оставь, сделай милость! А то, как есть бобыль.

* *
*

В троицын день Дема побывал в Мызине. Варюха вторую неделю лежала «пластом», по заявлению соседок, и по всем приметам опытных старух:

— Не жилица на белом свете. Все куда-то торопится, за все хватается... А прошлую ночь покойницу мать видела...

Баюнов жалел, вздыхал, поворачивал Варвару, когда требовали, и меньше всего думал о том, с кем останутся дети, «если не дай бог...»

Соседки утешали тем, что дело неминучее:

— Когда-нибудь все умрем, а что Варюхино дело... сироты, мол — так, родимый, душеньку ее

на нитку не привяжешь... Так уж, видно, господу богу угодно... что делать! И не в нашу высоту столбы-то валятся...

Ушел он не с легким сердцем. Всю дорогу у него Варвара из головы не выходила: лежит на полу, мечется. Щеки втянуло и круглый нос прежде — теперь стал вострым, с побелевшими краями.

На детей он и не поглядел, как следует. Сыты ли, одеты ли, как-то и в голову не пришло. И только когда снова у себя под навесом очутился, дети на память пришли:

— Свет не без добрых людей, — на этом успокоился и для новой партии посуды начал место подготовлять.

С обеда грузили в Ташкент. Было хлопотно, жарко и к вечеру Дема свалился в своем любимом уголке между забором и штабелем. Проснулся за полночь, когда светать стало, и проверив порядок на складе, сел у ворот, дожидаясь когда ободняет, чтобы отдохнуть, как следует.

Отдохнуть ему не пришлось ни в этот, ни на другой, ни на третий день, покуда Варварины косточки не снесли на погост ко Спасу-Купалищи.

Родная сестра, священник да и все добрые люди до шести недель не велели ребят из дома «уводить», главное:

— Варварина душенька шесть недель по земле бродить станет... Пусть в последышки на свое рожоное порадуется, а как господь призовет — делай с ними, что знаешь...

С этим и Дема не спорил, да и взять детей некуда. В городские приюты не возьмут, в деревнях таких заведений нет, а на складе у себя держать — надо особого человека иметь. А за шесть недель обо всем одумать можно, и что-нибудь с ребятами выйдет.

После того раза, как Санька Деме молока слила, стали они каждый день видеться. Дема так и знал, как семь часов, так и ждет у ворот:

«Вот сейчас Саня из-за угла вывернется»

А если случится, что Санька прямо на станцию пройдет и в Демины владенья не заглянет, так он целый день продумает, «почему да отчего» к нему на склад не заглянула, а раздумается — так и нужды-то в ней нет.

«Зайдет — хорошо, не зайдет — не велика печаль», — а все-таки целый день как-будто потерял чего. Ходит, ходит по двору и все за сарай поглядит — не бежит ли с ведерком. Главное, привык за последнее время, с этого день начинался. Нынче ему особенно хотелось, чтобы Санька зашла, кому как не ей о своем горе пожаловаться? Кто как не она в сиротском деле совет даст?

Семь часов прошло, а Санька не проходила:

«Нет уж, видно и ждать нечего...».

А в обед, когда последние подводы со двора съехали, «в казенный дом» пошел и так себе, между прочим, у смотрителевой жены попытал, дескать: «Санька-молошница не приходила?»

— Была, конечно, молоко разнесла и тут же домой вернулась.

— Скажи, сделай милость, чтобы завтра ко мне заглянула... Баюнов, мол, наказывал...

Утром, не успел с Санькой наговориться, поезд подошел. За Пуговкиным третий день подвода выезжала и только сейчас вернулся. Увидал Дему, поздоровался. Тот было его опять под навес манит:

— Некогда, на завод тороплюсь. А это кто у тебя, — на Саньку показывает.

— Так, одна из Починок, Паниха да Паниха... Чай слышал, как меня бог посетил, — сразу лицо

печальное сделал, — Варюха-то у меня... скопытилась...

— Что такое? — Пуговкин не понимает.

— Схоронил на той неделе...

Пуговкину совершенно безразлично, «скопытилась» Варвара или «не скопытилась», но раз Дема говорит с таким печальным лицом и явно выраженным желанием, чтобы его печаль была понятна другому, Пуговкин поахал и участливо спросил:

— Как же ты теперь?

— Думаю избу заколотить, а робят к себе забрать... Свяжут? Уж это как есть, только другого ничего не придумаю...

Поговорили еще кое о чем, а о самом главном спросить Пуговкина как-то в голову не пришло. А самое главное для Демы: останется Пуговкин директором или другого пришлют.

В сороковой день по Варваре Дема в церковь ходил, панихиду правил, да кстати уж и могилку оборудовал. На складе опять Данило оставался. Разве кому другому доверит Дема. Данило теперь не просто валяло какой, а член профсоюза и уполномоченный артели. Работе на мосту конца не видно, а работают двое, он и Кирька. Колька с Санькой в Починках орудуют. «Панихины обростать начали» — это про них вся деревня в одно. Лошаденка попалась удачная, Колька, не только свою землю, еще соседской на трех едоков обихаживает.

Все это Деме Данило рассказал, когда сменить пришел, а в Мызине приятели тоже по-хорошему встретили и каждый о себе что-нибудь да закинул.

— Передышечку сделали,—Панины радуются.— Теперь божья милость, кое-как выбиваемся...

Балявин человек не из жадных, для него и малое много — на завтра есть и слава богу.

А Пискунов, известно, у этого не поймешь, все только на побасенках отходит. Спросил Дема: «как, мол, поправляешься?» А он:

— Полно тебе, Дементий! Поправляешься? Поправляемся из кулька в рогожку...

— Как это? — Дема удивляется, — вон Панины и то...

— Наше дело сам знаешь: не до жиру, быть бы живу...

— А я о чем говорю? Про это самое...

День в деревне Деме за год показался. И к тому и к другому сходит, с тем поговорит, с другим посоветуется, а никто настоящего не скажет, как ему с детьми быть.

Вечером, перед самым уходом, Феклист работника прислал: «с Демой поговорить надо».

— Чего еще, — Дема рассердился, а не сходить, как ты не сходишь, может-быть и дело какое.

Тот его первым долгом чаем потчует. Потом Варюху пожалел, а особенно детей малых. Главное, «муж жену всегда найдет, а вот дети матери — это уж извини, пожалуста».

— Как ты с робятами надумал?..

— С собой возьму...

— Легко сказать, с собой возьму, а что ты с ними делать будешь? Дело мужичье, несрушны мы к этому...

— Как-нибудь надо...

С полчасика поговорили, Дема хватился — на склад пора. Человека просил до обеда, а задержался на целый день.

— Не взыщут, — Феклист утешает, — в таком деле человеку грех не пособить... Я бы вот душевно рад, да чем?.. Разве только вот что: у тебя сколько старшему?

— Десятый, не то одиннадцатый, а Верке лет двенадцать. Они еще до войны, а эти двое уж после...

— Я бы вот што, — Феклист на что-то себе в убыток решился, — давай ты мне Петьку с Веркой, своих робят у меня нет, пусть живут...

Деме не верится, что́ это с Феклистом? Неужто совесть зазрила, что тогда с братом так над человеком насмеялись, а Феклист опять про свое:

— Земля тебе ни к чему теперь... Какой ты крестьянин, ни кола ни двора, как говорится. Давай ты ее мне, а по возрасте ребят к ним же перейдет...

— А те двое-то как? — Дема Сеньку с Панькой вспомнил.

— Двое не четверо, — Феклист утешает: — что-нибудь придумаешь...

По-настоящему, конечно, так, а все-таки Дема подумать отсрочку взял:

— На завод поедешь, заезжай, там и покончим...

По Феклистову в долгий ящик откладывать не стоит:

— Ты отец, твоя забота, а чужие люди, они не только чтобы на добро наставить, а норовят тебе что ни на есть хуже...

А все-таки Дема последнего слова не сказал. Феклист, ясное дело, обиделся:

— Я не ради чего, а детей жалко...

У Пискунова всегда народ. В ночь собираются на мост итти, кое-кто уж с сумками. Рассказал Дема, что Феклист, мол, такое дело предлагает, посмеялись только:

— Феклист, он не промахнется... Феклист знает, где раки зимуют... Говоришь, робят жалеет! Так взял бы он маленьких, а то дай ему Петьку с Веркой...

Осокин посоветывал лучше так сделать:

— Земли у нас в обрез... С лошадями справляться начали. Видишь, вот поработали полгода, кое-кто и лошаденку справил, осенью на своей пахать выедет... Я к тому, ты бы лучше к своим голову приклонил... В несчастьи грех покинуть...

— К кому, дядя Семен? — Дема волком взвыл.

— Поспрашивай...

Пискунов слушал и смеяться перестал, а когда Дему за живое задело, сам набился:

— Вот что, Дементий, давай ты мне Петьку с Панькой, а Верку с Сенькой — Осокина проси... Девка у них на выданьи, одни старики останутся...

Редко Деме плакать приходилось, а когда за деревню вышел, слезы сами катились. О чем он плакал, и сам бы сказать не сумел, только плакалось: может-быть, о Варюхе, которая раньше «что есть, что нет» была; может-быть о земле, которую по чужим людям разделить пришлось; а может-быть и о том, что добрые люди еще не перевелись на белом свете и человека в несчастьи не покинули.

* * *

На другой день Дема опять на складе торился и все о своей «планиде» думал: «Все люди, как люди, только мне разнесчастному ни в чем счастья нет. Куда ни кинься, везде клин».

На склад уходил, думал, что жителем станет. Грешный человек, колотырничать надоело. Собирался хозяйство поднять. «Я, мол, здесь, а Варвара возле двора останется, ну, как-нибудь из нужды-то и выберемся, а теперь на, поди, как есть в чистом поле остался». Ходит, ходит по складу, а все места себе не найдет. За что ни возьмется, дело из рук валится. Бывало, хошь Саньку ждал, зайдет поси-

деть, чего только перед ней не выложит, а прошлый раз была, так не знал, о чем и речь повести.

— Хожу вот руки повеся, словно до ужова живу, — Саньке пожаловался, — и ни к какому себя месту не определю...

— Ты это зря, — Санька не соглашается: — пока жив человек, всегда себе место сыщет... Так уж скажи, тебя горе повалило...

— Повалило, Саня, вот как повалило: терпенья нет...

— А ты не поддавайся... Что ты, чай не убогий, прости господи... Руки, ноги не отвалились...

— Не в этом дело. Ты только то в голову возьми, как это мне ни в чем удачи нет... Вот хошь Варвару взять: незавидный человек, говорить нечего, а при детях все-таки мать была. Так нет, и этой решился...

По санькиному выходит: «выждать надо, не ты первый, не ты последний... Скули, не скули легче не станет»... С чурбака поднялась, юбку оправила; платок с головы сдернула и узлом на коромысле завязала.

— Жарища,—говорит,—просто моченьки нет... Яровое сохнуть начало... На «Свином бору» у нас греча нонче, так вся и сомлела...

— А вот у мызинских ничего... Хвалят. Особенно овес хорошо взошел. На своих-то полях не так чтобы очень, а вот на заводских, которые у Кокиных отобрали, страсть силен...

Санька косу на затылке укладывает, во рту шпильки держит, говорить нельзя, так она только головой мотнула, дескать «дай бог», а когда рот освободился и коромысел на плечо положила, Дему на ходу спросила:

— Это на тех, что Пуговкин отдал?

— На этих самых...

Пока Санька с косами возилась, Дема хотел Саньке навесить: «нет ли, мол, у вас там вдовы какой, али девки перестарочки... Без бабы, как ты ни бейсь, а ничего не выйдет». По-настоящему на кой ему дьявол, а если и собирался сказать, так хотел у Саньки ума попытать, как она на это расположится, не намекнет ли, мол, «таким бы и я не побрезговала». Подумал, не сказал, особой беды тут нет, а какой бы Санька человек подходящий...

— Прощай, Саня, заходи еще когда, а то уж больно скушно, понимаешь, не с кем слова сказать... Другие вон жениться советуют... — Деме стыдно сделалось: «ну как догадается, что на нее рассчитываю».

— Что тебе за нужда, если бы еще дети при тебе были?..

* * *

Первое время Дема надивиться не мог, за что только ему деньги платят: целые сутки другой раз шевырка не шевырнет, а две недели прошло, пожалуйте денежки.

— Дементий Баюнов, распишись... Десять рублей сорок три копейки...

Дема распишется. Уж какая расписка — поводит пером по бумаге, будто муха крылом навозила. Денежки в карман, а книжку на руки. В книжке все проставлено, сколько получает, сколько приходится за две недели и сколько в профсоюз удержано.

Получки три-четыре Дема о профсоюзе не думал: вычеты и вычеты, «в конторе лучше знают», а что вот он членом профсоюза сделался, это ему ни к чему. Потом уж как-то у Егора после по-

лучки задержался и об этом поговорили. Теперь Дема знает, что членом тоже не всякий быть может. Поди-ко, суньсь Кокины, глядишь и напорются. Стали Дему на собранье завкома приглашать. Если днем когда — он не пропустит, за него тогда пакгаузный сторож оставался, а если вечером — откажется. Тут и свой глаз не всегда вора усмотрит, особенно летом, когда мимо склада всякого народа идет-идет.

На собраньях Дема садился всегда в угол, и ни одного словечка мимо ушей не пропустит. Здесь не то, что на сходе в Мызине, не кричат, кому что вздумается, а все, как по-писанному, одно к другому.

Другой раз такое заведут, что ум за разум заходит. Например, производство. Какое бы, кажется, дело «нашему брату», как завод работает, если на это начальство есть? Так нет, тут тебе и так и этак поворачивают: и сколько выработали, и сколько прогулов, и какие печи надо ремонтировать. До всего добираются. Деме, конечно, тут и слушать бы нечего, а все-таки любопытно, когда один на другого, как петухи наскакивают. А собранье кончится, и все по-старому: ни начальство на рабочих, ни рабочие на начальство не сердятся. Это при Пуговкине, а вот при новом директоре совсем другой коленкор: теперь другого рабочего силом говорить не заставишь — молчит и молчит, зато новая метла чисто метет. Товарищ Лебедев так и бреет. Все не так да не этак: и мастера то плохи, и простои велики, и печи ни к чорту не годятся, и завком дисциплину не держит. Ну кому охота с таким связываться?

— Поживем — увидим, — Егор Федоров раз на собраньи сказал: — только как бы хуже не было.

А Лебедева так и взорвало:

— Это кто? Соколов, что ли? Не стращай, пожалуйста. Нам это хорошо известно... А пуговщину мы выкурим...

Кто-то еще поперечил: дескать, «пуговщину выкуришь, ничего от завода не останется».

Спорить не стал, а вечером на станцию какую-то бумажку погнал. Это у него всегда, если с кем не поладит или какое дело не клеится. Кому пишет, о чем пишет, на заводе не допытывались, только и добра от этого никакого не ждали. Бывало, Пуговкин в таком случае с мастерами советовался, а если и те не помогут, так два дня или три по заводу тучей ходит, а все-таки своего добьется.

Вот, например, с мостом. Еще прошлой зимой он чуть не каждый день в город ездил и по советским учреждениям пороги околачивал, добивался, чтобы к постройке приступили. Кое-как раскачал, приступили к постройке, да видит, что «настоящего темпа» нет, опять в учреждения кинулся. Дела не подвинул, а врагов себе еще больше нажил, да Дема Баюнов пострадал. Теперь, кажется, с мостом на дело похоже, только уж Пуговкин в стороне. Поспеет мост к осени или еще на год затянется, никому печали нет. Корочкин далеко, губкому не до этого, а новая метла покуда еще себе попросторнее место расчищает. В стеклотресте тоже буза. Заведующий под суд угодил. Касса давно уж прихварывала, а тут как раз сто первая комиссия ее безнадежной объявила, ну и не до этого.

Нынешней весной что-то долго вода на полоях задержалась, недели на две против положенного, а когда спала, оказалось — правый берег отмыло и мост сажен на двести приходится ниже перенести. Перенести бы ладно, только Яков Мысеич, не дожидаясь спада воды, распорядился перед буду-

щим мостом дамбу насыпать. Дамбу в свое время как следует оборудовали и даже камнем выложили, а тут — бац, на другое место переноси.

Вот и пошла переборка, от кого, да отчего такая проруха объявилась. Опять до губкома дошло. Секретарь Чулошников на Корочкина, Корочкин на Яков Мысеича, а этот тоже нашел виноватого:

— Пуговкин... Он меня положительно задергал, чуть что — сейчас же: «раскачиваетесь?» А то просто издеваться начнет: «чиновники, входящие, исходящие, госплан, госволокита...»

Чулошников отчет затребовал: какие работы произведены, сколько израсходовано, и новую смету на перенесение дамбы ниже по течению.

И все как будто в колею вошло: Яков Мысеич в кабинет засел, чтобы срочную смету представить, товарищ Чулошников стал отчета дожидаться, а Корочкин покуда организацией промышленности занялся подругой линии.

Сразу точно всем легче стало. Передышка временная, а как она кстати пришлась. У Чулошникова по партийной линии дела до чорта. Томилинский укомна дыбки встал и губернские распоряжения не признает. Партийная головка между собой грызню завела. Семенная кампания вдрызг провалилась, а тут надо хлебозаготовительный аппарат налаживать.

У Корочкина, пожалуй, еще хуже. Этому приходится на изнанку выворачиваться. По строительной линии пришлось сметы урезывать. В отчетном году на съезде такую программу накрутили, что все хозяйственники волчком завертелись. У кого в производстве кое-какой капитал собрался, те с места в карьер за расширение производства кинулись; у которых средств не оказалось, те на раз-

личные ссуды понадеялись и тоже к строительству приступили, а тут как кризис обозначился, значит на попятную. Это бы ладно, полгода-год выждать еще не все пропало, хуже всего то, что затраченный капитал мертвым грузом на губернский бюджет лег.

Покуда с мостом заминка вышла, начали рабочих сокращать. Всех ближняков на учет взяли, а дальних совсем отпустили. Человек с пятнадцать на постройке осталось. Для этих дело всегда найдется: кто мост рубит, кто лес чистит, кто в новом месте для дамбы лес корчует.

Мызинские мужики почти все остались. У этих больше недели прогула не было. Зато по хозяйству эта неделя не пропала. От Кокиных заводские поля отвоевали и всем миром овсом засеяли. Кое-где плетни починили, в двух колодцах срубы переменили. Теперь это все возможно стало, главное, копейка почаще водится да и впереди работа предстоит.

Пискунов, Балявин, Панины стали подумывать лошадьми обзавестись, а лошадь будет — сам себе господин и без куска хлеба не останешься. Овес еще только в землю кинули, а каждый на него упование возлагает.

— Лето перебьемся, а осенью, бог даст, овес поддержит...

— Ничего, робяты, кричи наша взяла,—Пискунов подпустил.—Потихоньку да полегоньку, глядишь, и обростем...

Осокин и смеяться не советует:

— А ты как думал? Сразу оно никогда само не придет... Нет, ты сначала хребет потрути, а потом уж и доходы считай, а под лежачий камень и вода не течет...

— Мужичий хребет гнучий, так его мать, — Дупель не соглашается: — гнется, а не ломается, разве только орясиной хватишь...

— С испокон века так — на это нельзя жаловаться, — кто-то Дупеля утешить попытался.

— «С испокон века», — Дупель кривляется, — с испокон века дураками хошь пруд пруди, а кто поумнее, так не очунно... Вон Дема с нами вместе пыхтел, а теперь ему чорт не брат...

— Позавидовал барин холую, — Пискунов поперечил. — Нашел на кого показать... Дема! Тебя бы в его сани посадить...

— И сел бы...

— Вытряхнет...

— Покрепче держаться станем...

— Если не за что?..

Семен Осокин все эти разговоры «впустую» считает. Главное Дема не за тот гуж тянет.

— Дема в одиночку от нужды спасается... От работы отказался, землю бросил, детей на взвей ветер пустил, что это за человек? За легкой наживой пустился, а чуть что не пофартило, куда он?..

— Об этом что говорить... Разве слепой позавидует...

Фомин Дупелеву руку держит:

— Мы вот завтра на берег, а что еще выйдет или нет, а у него дело верное, ходи да посвистывай...

— Ну и просвищется, — Пискунов вставил.

— Когда что будет, а теперь — барином. Вот он Варвару похоронил, ему и горя нет, а нашему брату случись — поверх земли належишься — гроша нет расколотого, а ему денежки на ладонку пожалуйте...

— Он в профсоюзе записан...

— Запишись и ты... Не заказано... Конечно, язык без костей, он тебе что угодно скажет, только не всяко слово в дело годится. «Подождем да поглядим, что дальше будет». Пока еще и Дема не расцвел. Если он отмылся немножко, волосы каждый день чешет да бороду сбрил, дескать, у Демы жизнь привольная. Совсем не потому, а просто — человеком. Другой весь свой век ни в чем не нуждался, а с него хошь черепком грязь соскабливай, а который человек к грязи не привержен, так тот себя всегда в аккурате содержит. А про Дему, что говорить, человек молодой, вдовый, кто знает, что в голове держит, може, жениться задумал?

* * *

В «первом доме советов» нового поселенца ждали. Чулошников распорядился очистить «угловую», где раньше какой-то «уголок» был, да никто не заглядывал, ну и заперли. Чулошников для Пуговкина постарался. Пуговкин приехал, а ему и комната готова. Комендант по-хорошему встретил:

— Не взыщи — не больно просторна... Уж как-нибудь... може какая другая освободится...

Пуговкину и этой «заглаза». Движимости у него только что в чемодане да постель в мешке в трубочку свернута. Кровать дали, стол на той неделе из ремонта вернется, а два стула с продавленными сиденьями сейчас же в его пользование поступили.

— Вот и житель! — Пуговкин смеется, когда над постелью два гвоздя вколотил и верхнюю одежину повесил.—В Самарканде целый год стояли и этого не было...

Через перегородку Корочкин живет, слышно, как его жена целый день с девчонкой воюет,

а после обеда начнет на машинке строчить, а то начнет мебель ворочать. Пуговкин у них и раньше бывал, знает, что вся комната ненужным хламом завалена: тут и диван, тут и кресло, тут и качалка, и комоды, и шкафчики всякие, а вместо прохода от двери к столу небольшая щель оставлена.

— К чему только--Пуговкин не придумает,— хорошо вот Корочкина три года с места не двигают, а, случись перекинут, куда с этим хламом деваться?

Долго Пуговкин к городскому общежитию не приладился, а все-таки дело наладилось: выучился, прежде чем к соседу в комнату взойти, мычелком в дверь постучаться, перестал по коридору в одном белье разгуливать и до такой тонкости в обращении приспособился, что советским дамам при встрече «доброе утро» говорит.

Прежде чем в новую должность вступить, Пуговкин постарался по старой все недоразумения выяснить. Целый день в стеклотресте сидит, старые дела просматривает, а там в совнархоз перекинулся. Здесь ему ни в чем отказа не было, Корочкин все карты открыл. Целый день бумагами шебаршит, а домой вернется, в голове одна забота, что за причина его с насиженного гнезда сдвинула?

Бумажка дело мертвое, как ты ее ни поворачивай, больше того не скажет, что только на ней пером выведено, а ведь Пуговкин и сам знает, что не все так пишется, как бы сказать надо.

Пуговкин боковое окошко облюбовал, которое в сад выходит. Сядет на подоконник и ноги калачиком. Сидит и смотрит. Смотрит до тех пор, покуда ничего видеть не станет. Это с ним часто случается. Сначала какой-нибудь пустяк займет: кот на крыше, собака пробежит, мальчишки с фут-

болом, а потом как-то все сразу захлестнет и только в голове свое дело останется.

Корочкин заглянет.

— Что, брат, на пейзаж любуешься?

— А то как же? — Пуговкин скажет, а по-настоящему никогда и в голову не приходило. На заводе три года прожил, местность, пожалуй, почище будет, а такие пустяки никогда в голову не лезли.

Корочкин за чисту монету примет и сам на подоконник присядет. Начнет ему про то и другое рассказывать, как, бывало, буржуи строились:

— Первым делом, чтобы из окошка вид хороший, чтобы поблизости церковь была, а самое главное — от других построек отличалась... Один старается постройку по земле разогнать, чтобы как можно больше места захватила, другой — в вышину гонит, чтобы в городе выше его дома не было...

Пуговкин сомневается, чтобы купцы и разные деловые люди о таких пустяках заботились:

— Ежели который хозяин своему делу, ему некогда из окошечка любоваться... И насчет церкви — тоже. Он тебе скорее свою хоромину к лабазу или фабрике приткнет, а церква ему дело десятое... Помещики — эти другое дело. Те, бывало, и в деревнях дворцы строили...

Корочкину спорить нужды нет, только вот по всей большой улице, чьи дома лучше всех? Местной буржуазии! Пуговкин и тут не сдается:

— Просто купцы скупили, когда у дворян мужиков отобрали...

— Экономический базис,—Корочкин смеется,— марксистский подход...

— Куда нам, — Пуговкин с подоконника слез: — это вы здесь на дискуссиях зубы съели, а я как с фронта вернулся, не удосужился ни одной бро-

шюрки прочитать... Вот уж теперь наверстаю,— на полку с книгами показал. Корочкин начал книги рассматривать:

— Ни одной разрезанной нет...

— Все еще приняться некогда...

— Что же ты делаешь?

— В архивах роюсь... Свои «уклоны» изучаю...

— Пустяками занимаешься...

— Нет, Корочкин, это не пустяк. Жив не буду, а так дело не оставлю...

— Хочешь склочником прослыть?..

— Хошь чортом, хошь дьяволом, а так не оставлю!..

— Ничего не выйдет,— Корочкину его умпрямство не нравится.— Послушай моего совета: махни рукой и впрягайсь в новые оглобли...

Корочкин ему только добра хочет. Главное, Пуговкин из мухи слона выкраивает. Если рассудить как следует: что такое каждый из нас в отдельности? Не только, скажем, винтик в огромной машине, а самая ничтожная кнопочка. И можно ли допустить, что эта кнопка вдруг встала на дыбы и отказалась повиноваться движущей силе машины?

— Так и мы, Пуговкин! Партия может ошибаться, партия бывает несправедлива к отдельным личностям, но не забывай того, что она все-таки руководит и объединяет нашу волю...

Все это для Пуговкина одни разговоры. Никогда он не поверит, чтобы в таком деле, как в разрухе «его завода», участвовал он сам. А то «нашу волю». Зачем же, спрашивается, он три года ломил как лошадь, восстанавливая производство. Уж во всяком случае не для того, чтобы на четвертый год какой-нибудь прыщ, вроде Лебедева, пустил его на-ветер.

— Ты мне докажи, что я не прав, что у меня бесхозяйственность, что у меня производство разваливается, что я сам не знаю, что делаю — это так, а то какие-то уклоны, какие-то недочеты в идеологии, все это только видимость... Нет, Корочкин, я с этим не согласен...

* *
*

Осенью на складе тише стало. Дороги испортились, мост еще не окончен, всякий подвоз прекратился. Новый директор раз-два заглянул и оба раза Демой недоволен остался. В первый раз к пустякам придрался: вишь кули под дождем мокнут. А при чем тут Дема, ежели под навесом места нет?

— Старый директор обещал, а тут такое дело вышло, человека сместили, ну и не вышло. А после, сколько раз в контору заявлял и не чешутся.

Лебедеву страсть не полюбилось, что его контора «не чешется», когда он сам хорошо знает, как всему аппарату хвост накручен.

— Ты бы сам почесался, — на Дему пеняет: — а то ходишь ручки назад да поплевываешь.

У Демы папироска в руках. За спиной потушил незаметно и в песок бросил.

— Главное, прибрать некуда, — жалуется. — Я и то кулей с двадцать по проходам рассовал, а больше не лезет...

Другой раз приехал, еще больше нажал. Везде непорядок отметил: погруженные вагоны не заперты — Дема виноват. Стружка и солома не сгружены, ему же попало. А при чем Дема? Вагоны не заперты — железная дорога отвечает, солома не убрана — ему не разорваться; вчера до темноты с погрузкой возились, а до этого руки не дошли.

Лебедев на станцию ушел и пакгаузного сторожа вызвал. О чем говорили, Дема не допытывался, а все-таки хорошего ждать нечего. Явное дело, что-то против Демы замышляет. Под горячую руку Дема не больно испугался.

— Ладно, не первый снег на голову — а все-таки вот как обидно, что Лебедев ни за что, ни про что придирается. У Демы одно в голове: «дали бы зиму пробиться». Уволь теперь с должности, куда голову приклонить: изба заколочена, урожай по чужим амбарам ссыпан, дети и те вроде как бы не его. Младшие так себе, к новым людям пригляделись, а старшие слезами умываются, как только отца увидят: «домой» — да и только. Дема и так и этак, куда там — домой да и все, а Петька, тот прямо:

— Не возьмешь, все одно уйду...

А куда уйдет, об этом ни Деме ни парнишке и в голову не пришло.

— Потерпи, Петя, — отец уговаривает: — поглядим, что дальше будет. В городе место выйдет, все переберемся. Квартеру снимем, будешь с Веркой в школу ходить...

— С такой дурой, — Петька не соглашается: — чуть не девка...

Деме и самому смешно, только вида не показывает:

— Дурак, только на год тебя старе...

Хошь «на полгода», все одно Петька не станет с ней в школу ходить. Лучше убежит, куда глаза глядят, а с Пискуновой старухой жить не будет.

— Обижает?..

Петька и сам не знает, обида это или нет, а только и знает командует: «Петька, сходи, Петька, принеси, Петька, нос утри Паньке». Что это?

Как ни бился Дема, а не сумел сына убедить, что без этого не обойдешься: «Панька не чужой,

кто его обиходит?» Попробовал пострашать: «испорю, мол, сжели убежать вздумаешь».

С Веркой куда лучше. Еще дома, при матери ко всякой работе привыкла, а в чужих людях словно на выхвалку и за то и за другое хватается. Другой раз Семен и то скажет:

— Вы бы девчонке передохнуть дали, — когда та с поля вернувшись начнет полы мыть, — затянется, с молодых годов расти не будет...

— Мы не неволим, — жена оправдывается: — сама за все хватается...

А когда осенью Осокины свою девку замуж отдали, Верка всю домашнюю работу в свои руки взяла. «Такого человека за деньги не купишь»,— Семен встречному и поперечному говорит. Конечно, за такое детище у отца сердце не болит. Кроме доброго слова от Осокиных другого не услышишь.

Вот с Петькой беда.

Целые ночи над этим Дема голову ломает, а придумать ничего не сумеет. А тут Лебедев придирается, не нынче, завтра увольненье выйдет. Вот и думай, как хочешь. Ночи осенние долгие, ждет, ждет, когда над погостом белеть начнет. Думается, и конца им не будет. А нужда чего не делает. Четырнадцать часов глаз с глазом не сведет, по двору ходит, каждый шорох на учет берет. Чуть где железо загремит или доска сорвется, так и вздернет всего:

— Воры, туды их мать.

Чуть не ползком под навес крадется, а самого лихорадка треплет: с пустыми руками, что ты сделаешь. Один раз в конторе заявил, чтобы оружие дали, так над ним же посмеялись.

— С крысами что ли воевать?..

Так и бился до Николы зимнего.

Перед праздником морозы ударили. Снега нет, а морозы вот какие, что старики таких не запомнят, и только на Спиридона-поворота снег повалил. Недели две сыплет и сыплет. Дема перестал даже дорожки разметать.

— Словно прорвалось родимое, — в небо лопатой покажет и на ящик с боем усядется папироску свертывать.

День с воробьиный нос, не успеешь оглянуться, как опять темно. Теперь для Демы полегче стало.

Такие сугробы кругом намело, словно стеной весь склад огородило. Целую ночь у ворот сидит, а утром обойдет только — следов нет ли. Да кто в такую пору полезет? Не спать по ночам он давно привык, а как ободняет, так и валится. Другой раз и поесть забудет. А еда у Демы хошь днем, хошь ночью — хлеб да картошка. Чай и тот не всегда пил. До филипповского говенья у Саньки молоко брал, а когда Санька корову запустила, и от молока отказался. Вместо молока стал свинину покупать. Варить некогда, так он мороженое сало с хлебом уписывал. Один раз к нему поп погреться зашел — выехал ребят встретить, которые в городе учились — увидал, что Дема скоромное постом ест, попенял немножко:

— А мы все жалуемся: вот, мол, господь отступился...

Дема не говорит, что дескать нужда заставила, а начал было с попом спорить, что «в этом греха нет». Только не ему с попом в спор пускаться, тот ему от писания такие резоны привел, что у Демы кусок поперек горла стал. А поп и на этом не помирился, говорит:

— Вестимо дело, за волосы в рай не тащут, а ежели по-божьи: надо свои похоти в узде держать... Две тысячи лет, Баюнов, господних за-

конов не рушили, а теперь умны стали и ему преблагому войну объявили... Что ты ни говори, а конец будет... Временное испытание нам, маловерам...

До самого поезда Деме проповеди читал, а когда уехал, стал и Дема раздумывать: по настоящему он и сам не знает, почему от бога откачнулся. Кто говорит «есть бог», а кто — «никакого бога нет». Кого слушать?

Если бы Дема сам эти самые книги читал, про которые поп рассказывал, а то все только с чужого голоса. Скажут «есть», ну значит — есть, а нет — и с этим спорить не станет. Ну и жил, как все добрые люди. Поп упрекает — «в храме божьем не видывал», а когда ему по храмам божьим расхаживать, ежели полдня в деревню сбегать никак не выберет. А все-таки в первое воскресенье к обедне пошел. В церкви народа негусто, но зато один к одному все народ чистый. Бывало, в церкви — руно на рупе, а теперь что-то никого не видно: одни богатеи да служащие со станции. В ризах поп совсем другой, непохож на того, что с Демей в каморке разговаривал. Службу правит, точно с живым богом разговаривает, под ноги не глядит, а все поровит глаза под потолок закатывать. Еще на одно Дема удивился: бывало, певчие из одних мужиков да парнишек, а теперь бабенки затесались, девчонки-подростки и нельзя сказать, чтобы пели плохо, пожалуй, поскладнее мужичьего.

Отвык Дема от божественного, а когда на клиросе запричастный стих запели, у него мурашки по коже забегали: «приведи мя к тихой и безмятежной жизни, — не пел, а плакал хор, — да плачуся о грехах моих». Дема вместе с другими на колени падет и начнет святые слова повторять:

«Царице моя преблагая, заступнице усердная... Не презри требующего твоея помощи», — не просил, а требовал Дема словами давно знакомой молитвы и с повышенным настроением ждал этой самой помощи, позабыв и склад и нового директора и только одно невыразимое желание получить эту самую помощь, чтобы выкарабкаться из провальной ямы, в которую он свалился благодаря Петрухе Кокину.

Поднимаясь с колен, при первом колебании церковной завесы «в царских вратах», Дема приметил, что оба Кокины тоже в церкви: один стоял за свечным ящиком, истово укладывая кресты сначала на лоб, потом на живот и размашисто с правого плеча на левое, а Петруха прямо перед амвоном лежал вниз лицом, с необычайным смирением подметая каменные плиты рыжей бородой...

— Со страхом божиим и верою приступите,— раздастся голос священника, и только тогда Петруха поднимается с колен, даже не отряхнув пыль с суконной шубы на лисьем меху. От натуги у Петрухи и без того красное лицо приняло багровый оттенок, а в глазах точно невыплаканные слезы.

— Тоже молится,—думает Дема.—Такой подлец, а богу докучает...

«Перед господом все равны», — поповы слова вспомнил. Нет, он с этим совсем не согласен, и если бы Дема доподлинно узнал, что господь вот сейчас к Петрухиной просьбе ухо приклонит, грешный, окаянный человек, а самого бы вседержителя упрекнул.

Главное, какой это человек Кокин? Про Демину обиду и говорить нечего, а ежели других взять, кто только от него, сукина сына, слез не лил.

А господь терпит. Чего терпит—во всем, кажется, помогает такому.

«Неужто он, батюшка, не видит, какой это человек вредный?».

У Демы уж такая повадка, как раздумается о чем, так ты его колом не своротишь. Так и сейчас. Поп ребятишек причастил, в царские двери ушел и еще раз с дарами вышел, а у Демы одно в голове: либо Кокин задаром молился, либо господь Деминого горя не видит. Опомнился только, когда поп еще в алтаре начал:

— С миром изыдем! — и то только потому, что поп с амвона на середину церкви вышел, и Деме посторониться пришлось, когда народ шарахнулся, чтобы попу место очистить.

На другое воскресенье Дему опять в церковь потянуло. Полюбилось ему хошь два часа каких-нибудь другой жизнью пожить. Уж очень ему свой склад надоел, особенно с тех пор как директор начал наваливаться. Все ему опротивело: и станция и поселок, в котором люди до ужого живут. Что это за житель? Нынче он в воротничке с бантиком по станции ходит, на серую публику покрикивает, а завтра под задницу коленом — иди на все четыре стороны. Нет, это не жизнь. Человек, если он стоящий, так должен всеми копытами в землю врасти, стой, чтобы тебя ветром не качало. Только где такое житье найдешь? Вот он, Дема. Давно ли его за человека считали. Все, как у всех: дом, жена, дети; негусто на дворе, а коровенка была, а теперь что осталось? На склад поступал, думал сразу все дыры заткнет, а прожил полгода, не только дыры заткнул — останного лишился.

— Одна надежда на бога, ежели люди отступились...

Как-то раз Дема в церковь ушел, а тут как на грех Лебедева черти принесли. Посовался туда-сюда, нет Баюнова. В буфете на станции дождался, когда Дема вернулся и сразу законный оборот поставил:

— Уволен... Две недели... Выходное в конторе...

Тут уж ни крестом ни пестом дела не поправишь. Дема и просить не стал: видимое дело, давно подкапывался. Две недели — четырнадцать дней. За это время что-нибудь да выплывет, за что уцепиться можно. За складом с завтрашнего дня будет пакгаузный сторож приглядывать, у Демы руки развязаны.

Первым долгом к попу надо, без него никак невозможно — преподаст утешение. Утешение нашлось — сторожем при церкви оставляет. Правда, жалованья не полагается, а «доброхотные даяния» будут.

Перед новым годом в церковную сторожку перебрался. На складе привык по ночам не спать, как раз и здесь это же требуется: с девяти часов и до четырех надо часы выбивать, только на складе, бывало, днем отоспится, а здесь целый день в струне: то младенца крестить принесут, то покойника, то какая-нибудь служба в церкви предстоит. А раз служба, тут уж обязательно: и кадило раздуть, и теплоту согреть, и потрезвонить на колокольню слазить. Нет, уж видно не стара пора, это бывало: на крылосе мальчишки, в алтаре мальчишки, на колокольне тоже они, теперь их на веревке не затащишь. Как же, совестно — «что комсомол скажет?» Да и родители хороши! В другом дому два-три балбеса, а праздник придет, некого с поминаньем послать. Так и маялись, а потом год за годом и сами старики от церкви

отвыкли. Ходит два-три десятка, а остальные все на недосуг ссылаются.

Первое время Дема все «доброхотных даяний» дожидался, да видит, даяния не поступают, стал задумываться, на что жить станет. Священнику пожаловался, тот и руками всплеснул, дескать «под лежачий камень вода не течет, надо меры принять». — А какие меры? Поп опять притчей: «Дитя не плачет, мать не разумеет»...

В крещенье «со святом», ходили поп, отец Павел, председатель церковного совета и сторож церковный, Дема. У тех все как-то складно выходит. В какой дом ни зайдут, сейчас же после молебна попу денежки на ручку, председателю тоже в кружку опускают, а вот Деме все надо покланяться, да напомнить каждому, дескать, жалованья не получаю, а жить надо. Поп тоже будто в шуточку, а на его руку клонит: «рука, мол, дающего не оскудеет». А Деме все это так не нравится; бросил бы он всю эту музыку: и попа, и кропило, и кувшин с свяченой водой и бежал бы куда-нибудь свои глаза скрыть.

Особенно стыдно было в Починках ходить. Как только к деревне подъехали, Деме первым долгом в голову вступило: «с какими глазами к Панихиным заявится»? А потом представилось, как Санька ему семитку протянет, а то и хлеба калабашку — скажет:

— Прими Христа ради...

Нет, что хочешь, к Панихиным он не пойдет. Лучше неделю голодать станет, а такого стыда на свою голову не примет. Начали славить с бобыльской стороны. Тут долго не задерживались. Поп барабанил — успевай поворачиваться, а когда на солнечную сторону поворотили, где народ посправнее, поп в растяжку молебствует. У бобылок не

только Деме и попу-то в другом доме не было, а здесь бумажками зашуршали. Деме кто пятачек, кто гривенник, в церковную кружку тоже перепало как следует. До Панихиных дворов десять осталось, а Дема все причину не выдумает, как бы Данилу с семьей миновать.

Дома за три у попа с кропилом конфуз вышел. Отслужил молебен у сельсовета, стали к кресту подходить, поп кропилом машет, а святой воды ни капельки. Что такое? Отец Павел на Дему смотрит и кверху брови вздернул: «что же, мол, ты такого пустяка не предусмотрел?» А Дема разве знал, что святую воду после каждого молебна надо несвяченой водой разбавлять? Он и то подумал, как из села выехали:

«Домов на двести разве хватит этого кувшинчика?».

Главное обидно то, что в таком доме и вдруг святой воды нехватило. Ну, будь это в другом каком, а не у старосты, такое дело, а то Иван Ксенофонтыч на всю округу человек почтенный, примерный хозяин, молитвенник и вот пожалуйте.

За ворота вышли, а поп все шипит:

— Таким образом мы всех прихожан растеряем...

В следующем доме Дема потихоньку ковш воды из кадушки в кропильницу влил, покуда домохозяева молебен слушали, и с легким сердцем попу подал.

Дема удивился немножко, как это отец Павел вольготно старикам лысины мочит, а Дему и не спросил: «откуда, мол, святая вода появилась?» Ладно, сошло. В следующий. Там опять то же, а тут и Панихины. Как быть: отказаться, поп еще больше обидится, неизвестно еще, чем и это

дело кончится. Махнул рукой Дема и к Панихиным воротам вслед за попом потащился. Староста в ворота стукнул — заперты. Поп в окошко заглянул, дожидается, а Деме стыдно — он к верее прислонился, чтобы из окон его не заметили.

Через минутку калитка распахнулась — Кирька:

— Чего вам? — спрашивает.

— Со святой водой...

— Не принимаем, у нас своей хоть отбавляй...

Отец Павел и разговаривать не стал: крест и евангелие под епитрахиль и скорее за угол. Вот уж в третьем доме такой прием, не только попу и другим стыдно, а что ты сделаешь, если повсеместно эта зараза проникает.

Староста церковный начал было Кирьку совестить, а тот ему на слово — десять, этим и калитку захлопнул. У Демы от души отвалило — не узнал Кирька. Согнувшись, мимо окон ширкнул, да нет, кто-то в стекло забарабанил:

— Дементий Парфеныч, милости просим, зайди на минутку...

Дема не знает, что делать: за попом ли бежать, к Данилу ли поворачивать:

— Погоди полчасика, вот уж кончить надо...

К окну подошел и Данилу головой кивнул.

— Смотри же, заходи, ждать станем...

Зашел Дема, когда смеркаться стало. Поп с церковным старостой подводу вытребовали, а Дема на часок отпросился. У Данилы, видимое дело, гостя дожидались — стол белой скатертью покрыт и посуда расставлена. Санька в чулане с самоваром возится, а мальчишек и в избе не видно.

Поздоровались. Данило удивился — «какими судьбами?» — спрашивает.

— Очень просто... Неволя чего не сделает...

Санька из чулана вышла, на полушубок показывает:

— Где это ты полы нагвоздал?.. Снимай, я на печи растелю...

— Все с этой кропильницей, — Дема попенял и шубу на кутник бросил...

— Садись, давай, — Данило на лавку показывает. — Слышали, брат, что ты в духовное звание перекачнулся, как же, земля слухом полнится... У меня робяты и то: «какой человек, а поди ты»...

— Какой был, такой и остался, — Санька с печи вступилась, — не человека зарезал...

— Я не к тому, — Данило оправдывается: — только, мол, как это? Словно бы человек-то не такой...

За чаем разговорились, «как это православным невмоготу жить стало». Мечется человек, к примеру Дему взять, и нигде себе места не согреет. Диви бы голова пустая или пьянством зашибался, так нет, куда ты ни сунься.

— Ежели человеку не повезет, — Деме за себя заступиться хочется, — так уж видно до гробовой доски...

Праздника не справляли Панихины, а бутылочка самогона нашлась. Выпили. У Демы сердце отмякло, забыл, что надо домой торопиться, часы выбивать.

— Уйдешь, успеешь, — Данило уговаривает: — в кой то веки...

Про своих ребят вспомнили, с которыми в лесу работали. Пуговкина пожалели и нового директора не обошли:

— Такой сукин сын, ползавода разгонит...

Про мост? Что мост. Стоит. До весны всю работу остановили. Бывало, как Пуговкин хвост

накручивал, небось шевелились, а теперь с Покрова руки сложили. Что весна скажет.

Дема давно никого мызинских не видал, как они? Без работы накладно нашему брату.

— Мызинским што,—Данило не соглашается:— почесь целый год на работе. Осенью, говорят, овес поддержал, такой-то уродился, не превидано... Пискунов в город вывез, так с руками и рвут... Кое-кто поговаривает, чтобы на четырехполье перейти, а Кокины хлопочут на участки всю землю разбить...

— Как знают, — Дема от своей деревни отрешился: — по мне, что хочешь... В деревне мне делать нечего... Как есть пролетария...

Данило не утешает, да и утешить нечем. И в самом деле, какой Дема крестьянин, ежели у него прицепиться не к чему?

— Тебе надо по другой линии свое место искать... Главное, грамотный и с понятием...

— Нашел вот, — Дема над собой смеется: — чем не линия, с голода подохну, хошь погост не далеко...

Саньку только удивленье берет, как это мужики могут крылья опускать:

— Что это за неволя с голода подыхать, да я бы во сто мест толкнулась, а добилась свово...

— Поди-ко, толкнись, — Данило, поперечил: — ежели тебя со всех сторон...

— У другого семья повалила или здоровьем бог обидел, а ты, слава тебе господи...

— Не в этом дело, Саня, — Дема возражает:— никакой у меня подпоры нет... Ни поговорить ни посоветоваться... Будь бы хошь она жива, Варвара эта самая...

— Полно, Дементий Парфеныч, у мужиков такая нация, про баб только про мертвых поми-

нают, а жива была Варвара, гляди-ко, как, чай, часто советовался...

— Тогда другое дело было, разве мысленно сравнивать...

А все-таки Деме пора. Часа два прохлюпаешь, а теперь, поди, семь часов есть.

— Робяты еще с собранья не вернулись — Данило уговаривает.

— Нет, итти, так итти... Как бы с попом опять не разъехаться.

Санька попеняла, что у Деминой шубы все крючки оборвались:

— Подожди, минутку, я тебе хошь на живую нитку примечу...

* * *

В половине мясоеда у попа дела поправились: что ни день, то свадьба, то крестины, то похороны. Отец Павел совсем голову поднял, только у Демы все по-старому осталось. Например, приедут «свадьбу венчать», и поп и дьякон в накладе не останутся, а Деме — разве только веселый дружка стакан самогона вольет.

Поп другой раз о Деме вспомнит и велит попадье молока унести, а то кусок пирога отрежет, а когда Феклистова сына венчали—пятьдесят копеек деньгами. Видит Дема, что на нищенском костыле едет, не по душе ему, стал придумывать, как бы из этой ямы выкарабкаться. До весны еще три месяца, а пить-есть надо. Раньше он думал, что бог его возлюбил и поэтому всякие испытания посылает, а потерся возле попа да церкви, начал и в этом сомневаться. Правда, поп неплохой человек, зря и его не обижает, особенной жадности тоже невидно, а вот насчет божественного и у отца Павла прорехи. Дема до

сих пор забыть не может, как он святую воду простой подменил. Не раз на молитве у господа прощенья просил, а поп хошь бы раз помянул когда или упрекнул Дему. Нет, все так, как и быть следует.

А другой раз такой случай был. В какой-то праздник уж очень много народа было — причастников. Поп перед выносом в алтаре причастился, а потом за мирян взялся. Причастники, как на грех, хворые, неопрятные, с болячками на губах. Дьякон стоит с платом, гноючие уста причастникам утирает, а самого с души тянет. Кончили, дары поп на жертвенник отнес. Теперь надо оставшееся причастье дьякону выпить, а как тот пить будет, когда своими глазами видел, что «лжица» не у одного в гнилых устах побывала. В приходе и тиф и «дурная болезнь» повальная, долго ли человеку погибнуть.

— Уволь, отец Павел, — дьякон просит: — на желудке мутит, пречистое тело и кровь господню осквернить страшусь...

Отец Павел настаивает:

— Выпей, дьякон, на исцеление души и тела...

Дема возле стоял и весь разговор слышал.

Дьякон опять за свое:

— Извергну, отец Павел!

— Извергнешь, предадим всесожжению...

Как ни спорили, каких только примеров поп ни указывал, а дьякон все-таки отбился. По-настоящему надо бы попу «святые дары» выпить, а он тоже уперся, с этим и обедню кончили.

«О страшных дарах христовой тайны» каждый православный знает. После причастия ни один православный на пол не плюнет, а все на шесток или в тряпочку норовит. Сам же отец Павел раз по нечаянности капельку у престола плеснул,

так потом старосту позвал и с великой молитвой коврик огню предал. Правда, коврик был и без того весь в дырах, а староста на новый скупился— все-таки пришлось новым заменить.

После обедни Дема стал в церкви прибирать. На жертвенник он и взглянуть боится: пречистое тело и кровь господня. По алтарю ходит на цыпочках и мягкой щеткой престол обметает. Как ни страшно, а надо и жертвенник обмахнуть. Обыкновенно сосуды после службы в особый шкаф запирались, а теперь стоят на жертвеннике и ничем не прикрытые.

Подошел Дема и хотел сосуд чистой бумагой прикрыть, чтобы пыль не попала, да заглянул в сосуд, а он чистехонек. Что такое? Когда поп успел причастье выпить? Не видал Дема, да и раздумывать не стал, не его дело. Вымел в алтаре и мусор в уголок сгреб, а потом собрал на лоточек и в печку понес. Отворил дверку, а тут что-то вином пахнуло. Заглянул, поверх золы кусочки просфоры и чем-то намочено. — «Неужто отец Павел такой грех совершил, — Дема про себя подумал: — а ведь кроме его некому...».

И так ему грустно сделалось, что не знает, как при встрече попу в глаза поглядеть:

«Над святыней надругался!..».

А ведь как распинается, если с прихожанами беседы ведет или с Демой, когда тот у него обедать останется. Это с ним часто бывало. Позовет поп помолотить или за сеном на поповой лошади съездить, и после всегда обедать оставит.

Отец Павел пуще всего Деме не советовал праздным оставаться:

— Если руки не заняты, богомыслием поработай господу...

В чем это богомыслие заключалось Дема не знал хорошенько, а чтобы руки праздновали, это редко случалось: то в церкви, то у попа на дворе, а все чем-нибудь занят. До того доходило, что вместе с работницей для поповой семьи баню топили, а на богомыслие как раз время не оставалось. Поп посоветовал по ночам читать. Ночью какое чтение. Лампы не было, фонарь, а в нем огарок свечи с палец, да и то со старостой скандал вышел, не велел огарки брать, а Дема потихоньку все-таки парочку в кармане унес. Давал ему поп книги божественные, только на большие у Демы терпенья нехватало, а маленькие, вроде «листков троице-сергиевской лавры — по благословению святейшего синода», эти читал. Бывали очень любопытные истории, только все это не то, что для Демы требовалось. В них одни примеры, как святые люди богу угождали, как святители знатного происхождения «о нас грешных» перед господом предстательствовали, и, что особенно Дему удивляло, ни одного святого «из нашего звания». Все князья да царевичи, и грузинские, и татарские, да отцы церкви: патриархи, митрополиты, игумены.

«Все это так, — другой раз Дема задумается: — а вот неуказано, как в нашем звании спастись и богу угодным сделаться...».

И действительно, сколько он ни ломал голову, не было примера, чтобы вот крестьянин или рабочий какой во святые попал. Из торговых еще бывали, дети купеческие, а вот из мужиков — нет.

Попу открылся. Отец Павел наставлять начал:

— Богомудрие не всякому дается, а суемудрием всякий невежа занимается... Мужиков святых

нет? Видишь, чем удивить захотел! А ты рассуди хорошенько, далеко ли наш мужик от животного ушел? Живет он в грязи, в невежестве, храма божьего не посещает, наставника духовного не слушает. Воровство, сквернословие, тунеядство, зависть кому, как не ему присуще? А ты мужика в святые захотел! Да чем он, скажи пожалуйста, от животного отличается, только что на двух ногах ходит?..

Плохое утешение для Демы. Когда человеку из простого звания спастись невозможно, к чему тогда и вера, и бог, и церковь? Как ты ни бейсь, а твоя молитва не будет услышана.

«Совсем мужик нехорош по батюшкиному, а почему же он от мужика не лезет?» — Дема подумал и стал припоминать, какие случаи были, когда сам отец Павел к мужикам хвост подкидывал. Да мало ли? Например, с дровами. Понадобились дрова, небось и мужики хороши. На собрании и то, и се: такие, сякие, немазаные:

— Окажите поддержку святому храму и его служителям. Дающего рука да не оскудеет. Испокон веков православный народ заботился о благоустроении храмов божиих. Его трудовой копейкой зиждится великолепие церквей даже до днесь, когда пастыри ее и служители верные терпят неимоверные гонения от князи и властители мира сего...

Выгорело. Мужики и дров навозили и поповой корове обещали в покос по копне сена выделить, а, главно, в протокол занесли, что для всякого — верует он или не верует — таких не много, а о церкви своей попечение иметь. Тут уж не отвертишься, не скажешь, как Кирька в прошлый раз про святую воду, что у них «своей много». «И ведь точно знал, паршивец, что вода в кувшине из Олениной кадушки», — Дема подумал.

Да что уж об этом говорить, когда священник заповеди божии нарушает. Сам же Дему учил: «небрежение заповедями божиими великий грех, человек, не соблюдающий их, подобен коню, уздой не управляемому», а сам первый нарушает их. «Помни день субботний, еже святити его: шесть дней делай, день же седьмый—суббота — господу богу твоему». А у Демы всегда так выходит: шесть дней, как белка в колесе вертится, а «день же седьмый, суббота» на отца Павла работает.

Раздумается об этом и всякая надежда на спасение вверх тормашками полетит. Бросить всю эту музыку, да только деться некуда. Бывало, одно утешение: пойдет в церковь печи топить, у престола на колени падет и начнет перед господом свое горе выкладывать. Вся мужицкая душа мягче воска сделается. Молится о себе, о Варваре, о детях, по чужим людям страждущим. Об одном сокрушался, что до всевышнего настоящих слов не знал. Другой раз до того домолится, что, кажется, живым бы на небо улететь, все земные невзгоды забудет, со всяким на земле горем примирится и всем своим врагам «отпустит», а настоящего богу не выскажет, ну вот одного только словечка нехватает, чтобы бог ему в яве ответил; все только—господи, господи, спаси да помилуй.

Теперь пошло совсем по-другому. В церковь придет—никакого трепета, будто он у попа в кухне располагается. Зимнее дело, холодно, так он не всегда и шапку снимал. Так в шапке и в алтаре прибирает. Особенно его от бога откачнуло с тех пор, как Петька неизвестно куда от Пискунова скрылся. Перед этим он как «господу-богу» молился, чтобы родное детище на разум наставил. Нет, и в этим проруха вышла. Убежал мальчишко и может-быть где-нибудь со шпаной валтузится,

Все бы это ничего, да Пискунова старуха в церкви за Дему взялась:

— Непутно-то семя, Петька-то твой, убежал, мошенник... Что нам теперь с Панькой делать: няньку што ли нанимать?..

Дема не знает, куда глазами глядеть. Старухе поперечить — за Паньку страшно: «бери, скажет, на свое попечение», а Петьку ругать, язык не поворачивается;

— Повремени, тетя Матрена, — Дема взмолился: — весной что-нибудь делать надо...

Поп говорит: «новое испытание, претерпи». Терпит он. Терпит не год и не два, а сколько лет так-то, когда же конец такому мытарному положению?

С этого и пошло. Всякому терпенью конец бывает. Человек обидит—терпи, бог накажет—тоже терпи. Что это? Нет, уж надоело. «Пьяницей, вором сделаюсь, а больше терпеть не стану»,—это Дема себе такое решенье положил, а день пришел, началась эта суголока, то туда, то сюда, то за тем, то за этим, и видит, что опять все по-старому, ежели не хочешь куска лишиться. С богом, конечно, другое дело, он тебе не скажет, что: «Дема ты, брат, что-то нынче помолиться забыл», а поп всегда пику в глаз:

— Великий праздник на носу, а ты о храме не позаботишься... Надо честных вдовиц поискать, чтобы святые иконы омыть, ризы почистить. А окны, ты только погляди, на них пыли на палец...

— Даром никто не станет, — Дема на вдовиц намекнул.

— Как это?—у попа и глаза на лоб.—Древние христиане, бывало, за особу милость считали послужить церкви от трудов своих...

— Топерь не очунь,—Дема на своем настаивает. А вечером пошел по деревням честных вдовиц разыскивать. И в тот и в другой дом толкнется, у всех вдов своей работы по горло, а одна так прямо спросила: «поденно али чехом поп платить станет?» Так и пришел ни с чем.

— Нет таких, чтобы бесплатно. Отказываются...

Отец Павел с Демой говорить не стал, а его же послал за церковным старостой, и на чем дело порешили, Деме не докладывали, только на будущей недели в середу приказали два чугуна воды согреть да в лес сходить, где-нибудь хвоща нарвать. Воды он нагрел, а вот с хвощом ничего не вышло, главное, еще снег везде. Проталинки кое-где есть, да не в тех местах, где хвощ растет.

Пришли две бабы: Оленка Назарова да Дунька Сильянова.

«Вот так вдовицы честные!» — Дема про ту и другую подумал. Правда — вдовы, только не настоящие. У одной муж на другой повенчался, а другая сама от мужа ушла. Пришли ранехонько и начали Дему тормошить, то та, то эта. Тот на них и покричит, и посмеется, да что с такими сделаешь — кобылы стоялые. Оленка стала одного святого промывать, который «от бесчадия» помогает, да и говорит:

— Есть же такие дурехи, молются, а я, окаянная, всю бы Расею исходила, только такого угодника найти, чтобы у меня детей не было. Надоело по больницам шляться ..

— А ты бы печать положила, — Дунька зубоскалит.

Дема слушает и в разум не возьмет, какой это народ бесстыжий, ну-ко чем хвалятся. А каждая бы то подумала, через кого это? Через себя, ума

своей плоти не дают. Так он и Оленке сказал, а Оленка на него мочалкой замахнулась и напрямик бякнула:

— Да вы, нечистые силы, на боку дыру провертите... «Уем»! туда же, сам-от ты, поди, без бабы ложишься...

Дема божиться начал, что женского тела вот уж больше полгода не видел, а тем и найдено, начали допытываться, чем он свою плоть смиряет. Такие дьяволы мертвого расшевелят. Вечером стали уходить — Оленке на минутку какое-то дело придумал. Дунька к ребенчишку торопится. Оленке нет ничего, осталась, как будто так и быть должно.

Созорничал Дема, а на утро совесть замучила:

— Словно другого места не было.

Нет, чтобы там ни было, а бежать отсюда надо. Здесь не только спасенья ждать, а по самые по уши во грехе увязнешь. Стал у попа проситься денька на три в город отлучиться:

— Парнишко сбежал, надо хошь явки подать...

— Ты об этом в вик заяви...

— Нет уж самолично хочется...

— После благовещенья можешь, а теперь время такое...

А в самое благовещенье к попу гости съехались. Приезжали не раз и до этого, а нынче что-то особенное, не то архиерея судить, не то на какие-то выборы. У попов тоже что-то криво колесом пошло, никак они свое дело не наладят: там мужики на попа засядут, там поп мужиков притесняет, кто их разберет, теперь не стара пора, все пошло навыворот.

После обедни съехались: начали о чем-то запершись шушукаться. Дема, было, на кухне дожидался, послушать не удастся ли... Куда там! отец Павел руками замахал:

— Мирянину не подобает в духовные дела ввязываться...

А после обеда Кирька Панихин, как бешеный к Деме в сторожку примчался: «давай ключи от церкви, товарищ Тузов на диспут приехал».

Дема смеется только, вот, глупа половина, словно он хозяин церкви:

— Ключи надо у батюшки требовать...

— Поди скажи ему...

— Заперлись, никого не пущают...

Пошел Дема. Отец Павел позвать велел старосту. Староста тоже распорядиться не может, надо мирян спросить.

Молодежь народ нетерпеливый, ей дай да подай, а староста стариков на ноги:

— В церкву не допускайте... Есть и кроме где...

Заскрипели старики и старухи:

— Не превидано, ну-ко до чего додумались, креста-то на них нет. А отец Павел чего глядит, он к этому приставлен... Посылай за ним...

Отец Павел пришел, как бумага белый:

— Как хотите, православные, дело ваше. Пустите, пускай оскверняют храм божий, не пустите, у господа зачтется...

Со всех сторон крик поднялся: «Не давать ключей, да и кончено, што это такое?.. Не попустим над святыней надругаться...»

Кое-кто кричит: «не худо бы кольями запастись». Иван Ксенофонтов из Починок случился, к самому столу пролез, говорит:

— И без кольев обойдемся... Вот они, родимые,— оба кулака показал: — попытай который... Знаем мы, все наши Панихины наводят, Кирька с Колькой...

Видит поп, что дело в большую пошло, как бы и греха не вышло, первым делом за него возьмутся.

— Православные, — говорит, — не препятствуйте... Сам господь наш Иисус Христос претерпевал гонения, покоритесь, прошу вас... Разрешите, а завтра я соборне с отцами духовными молебен с водосвятием...

— Ты как хочешь, а нашего согласья не будет...

— Я миру не указчик, православные, как бы на меня гонение не воздвигли...

— Претерпи, ради господа, — богомолка Ефимовна просит.

Неизвестно, чем бы дело кончилось, да на счастье попа Тузов скандалить не хочет, и возле пожарного сарая под навесом, где багры да лопаты сложены, свое безбожное собранье устроил. Церковный совет обрадовался: «господь от поругания церковь избавил», а попу опять не легче, свои же верующие двух человек отрядили, «чтобы отец Павел на собранье шел, нашим не сила».

Тот было и так и этак: «и совет, и отцы духовные и резолюции не вынесено»... Неотступно требуют: — «Кому же, как не тебе за веру, за церкву постоять»?

Пошел отец Павел, а с собой еще двоих гостей прихватил. Один раньше миссионером был, старичок древний, бывало с ним на прения с сектантами постоянно стражники ездили, а другой в семинарии студентом кончил, на него особенно приходский совет упование возлагал, а главное отец Евгений еще в семинарии всю политику произошел и знает, как с такими людьми разговаривать.

Покуда Дема от попа да к старосте бегал, под навесом собранье открылось. Пришел он как-раз,

когда стали за попом посылать. На Тузова со всех сторон так ядом и дышат:

— С нами тебе, что! Ты вот с попом поговори...

— Мудруют, мудруют, не знамо што... Бога нет, попа не надо...

— Бог, он никому не мешает, а ежели, скажем отцы, деды... Они не дурее нас были...

А тут еще умница выискалась: Оленка Назарова, ни с того, ни с сего тоже в разговор пустилась. Ну, пусть бы человек с понятием, дескать, бог штука такая—подумать надо! А она как с цепи сорвалась: «нам что есть, что нет—все едино. Если он есть, так все одно не с нами...»

— Дура, пра-дура, — Иван Ксенофонтов не вытерпел. — Не с нами. С кем же по-твоему?..

— Кто каждый день обедает да нашу силу мотает...

Вот и поговори с такой. Словно бог в каждую печку глядит: «а у Олены нынче ничего не стряпано!».

— Тебя, поди, вымотали, вон мурло-то какое...

О пустяках, конечно, спорить нечего. Тут дело сурьезное. Тузов прямо говорит, что бога сами же люди придумали, для того, чтобы рабочую силу из рук не выпустить. Которые не согласны, стали вопросы задавать:

— А как же, мол, когда рабочей силы не было, а народ все-таки в бога веровал?

Тузов и на это ответил. И все бы может-быть на этом и кончилось, главное попы пришли и у сторонки стали. Их прихожане начали вперед посылать:

— Садитесь за стол...

Тузов тоже не препятствует и ребята молчат. Первым делом миссионер говорить начал.

Крест на груди поправил и крестным знамением грудь осенил:

— Во имя отца и сына... Отцы и братие!..

Только, было, говорить хотел, а тут молодежь заржала!

— Валяй, проповедь...

За миссионера старики вступились:

— Нашим рот зажимают, сбрендили!..

Тузов собрание уговаривает старичка послушать. Старичок к другому порядку привык: бывало, чуть кто-нибудь на собраньи голос повысит—стражники тут как тут, а теперь смотрит кругом и только головой мотает:

— Хулу и поношение приемлю во имя господа моего...—Стал говорить о том, как иногда господь карает за служителей божиих. Рассказал, как он повелел растерзать медведицам сорок малолетних детей, только за то, что они по неразумию своему кричали «плешивый Елисей». Да, видно, нынешнюю молодежь медведями не застращаешь, тогда он целый текст привел, как в священном писании говорится: «Почти лице старче, пред лицем седаго восстани».

А парни не только, чтобы почтить «лице старче», а начали такое выкрикивать, что бабы и те рассмеялись. За миссионера отец Евгений встрял и начал собранию доказывать, что свободу мнений уважать надо, а на озорстве да издевательстве далеко не уедешь. Попросили его высказаться. Этот по-другому начал. К нему стала и молодежь прислушиваться. Прежде всего православным он об декрете напомнил, которым свобода совести «провозглашена», потом «об отделении церкви от государства», а дальше уж начал доказывать, «что сомневаться в существовании бога так же нера-

зумно и дерзко, как отрицать свое рождение от отца плотского».

Кое-кто по-настоящему не понял, что отец Евгений иносказательно говорит, за чистую монету принял и с батюшкой никак согласиться не хочет:

— Ежели мать, оно правильно, а насчет отца не больно ручайся...

— Вон у Оленки их трое, а отец ото всех отказывается...

Не такая баба Оленка, чтобы такую обиду спустить:

— Ты,—говорит,—нечистая сила, своей жене указывай, а меня не тронь.

— Я к примеру только... Обижаться тут нечего...

Ну, какой тут диспут, когда каждый в разговор суется. Попы народ образованный, знают, где какое слово вставить, а наш брат, что на ум придет, то и бякнет. Отец Евгений больше говорить не стал:

— Превратность понятий, сознательное искажение истин, невежественная аудитория... Не умом, не ухищрением мысли человеческой познается величие божие, а чувством и верою...

Вот тут уж и Тузов себе слово взял:

— Товарищи! Мы не от первого попа слышим, что бога пощупать нельзя, а надо чувством и верой исповедывать. А ведь само евангелие говорит, что не всегда и святые на веру полагались. Апостол Фома, когда ему сказали, что Христос воскрес, наотрез отказался: «не поверю до тех пор, покуда не вложу персты в раны его». А нам говорят, веруйте. Благодарим покорно, будет, поверовали. Сами попы веруют ли? Опять на евангелие сошлюсь, там прямо сказано: если у тебя найдется веры хотя бы с зерно горчичное, тогда скажи

горе: вверзись в море и пойдет, а мы что-то ни разу этого не видали...

«Православные» начали покрикивать, что «тут нам не понять, дескать, не нашего ума дело, а ежели чему православная вера учит, надо неукоснительно...».

С этим первый Тузов несогласен, а за ним и другие начали:

— Было бы во что! В пустое место не верят...

Отец Павел ни слова не сказал, все только прислушивался. Ему очень не хотелось в спор втягиваться. Если бы он знал, что его Тузов в калошу не посадит, ну еще туда-сюда, а если выступишь, да неудачно, перед целым приходом сконфузишься, а совсем промолчать — верующие опрокинутся. Попросил и он слова.

— Блаженни есте, егда поносят вас и рекут и изженут всяк зол глагол на вы лжуще мене ради,—отец Павел прямо с текста начал.—Оскудение веры, поношение святых божиих церквей, небрежение к собственному спасению, вот достояние сынов века сего...

Говорил долго. Верующие терпеливо слушали, более богомольные плакали, а большинство, сбитое с толку Тузовым, указывающим на отсутствие чудес, недоверчиво хранило молчание, однако, не мешая своему батюшке заступаться за бога и за его святую церковь. В деревне—не в городе, здесь слушатель не нуждается в высоко-научном обосновании бытия божия, ему нужны факты непосредственного проявления божественной силы в обыденной жизни. Не потому ли самым популярным святым считается Никола-угодник, от которого в ночном видении получали кошельки с золотом нуждающиеся. А раз нет таких фактов, которые

можно осязать перстами, все доводы отца Павла будут неубедительны.

— Чудес? В каких чудесах нуждаетесь, маловерные? Не чудо ли, когда вино и хлеб превращается в тело и кровь господню, не вы ли со страхом и трепетом приобщаетесь святых тайн во исцеление души и тела?

Тут опять со стороны заговорили; начали прибирать, где и у кого от святых даров нос провалился, где у детишек понос открылся. Всего не переслушаешь. Отец Павел хотел уж от стола итти, а тут Дема, как лист трясется·

— Православные — говорит. — Батюшка сейчас на святые дары указывает, а спросите его, зачем он их в печку выплескивает?..

Все рассказал, как поп с дьяконом спорили, и как потом причастие вместе с мусором в печке очутилось.

Народ сначала на Дему кинулся. Попы анафемствуют, а Дема свидетельницу выставил — Оленку Назарову. Оленка не отказалась и Демины слова подтвердила.

— Самолично видела, что вино, что просвирочки...

На загладку Дема и о том не умолчал, как отец Павел православных святой водой дурачит, как его по праздникам на себя работать заставляет, а кончил на том:

— Закрутили нам головы, православные...

IV

Случай с попами в Купалищах весь приход перегалашил. Дему Баюнова верующие чуть на клочки не разнесли. Явное дело — «большевики

подкупили». В сторожку ему и глаз не показывай, да и не почто: все имущество при нем, а если чашки да чайник остались, так это он может через людей стребовать.

По задворкам парни до выгона проводили, а дальше куда итти? Встал Дема на мостике и с места не тронется.

Некуда! Как ни думал, как ни раскидывал мозгами, а итти некуда. Долго стоял, а никакого решенья не принял. «Хорошо бы с камнем да в воду», — про себя подумал, но и этого нельзя сделать: речонку в любом месте вброд перейдешь. Стоять — ночи дожидаться, все одно ничего не выстоишь, пошел куда глаза глядят.

Если бы человек в разуме был — шел бы к себе в деревню, неужто бы кто в ночлеге отказал? Так нет, Дема по дороге к станции поворотил, а когда дошел, смеркаться начало. Мимо склада идет, припомнил, какие здесь есть уголки удобные; завались между штабелей, рогожами накройся и спи сколько хочешь, ни одна душа не потревожит. А теперь его вот как сон морит, а голову приклонить некуда. Припомнилось и житье старое, какими он здесь делами ворочал: «какого житья решился, только подумать надо!»

Постоял у ворот и прямо на полотно дороги вышел. Будь у него в кармане, ну, пара рублей, что ли, сейчас бы в губернию, к Пуговкину, Корочкину; неужто бы человеку погибать дали? В том-то и беда: в кармане у Демы пусто, только два огарка где-то в уголке прилипли.

Вдоль полотна дорожка наезжана. «А ведь это в Починки, — Деме только сейчас в голову пало: — Что же приду к Даниле, не выгонит, только неловко поздно стучаться, скажет: не было другого-то время».

Сел на откосе с мыслями собраться, нельзя же, как волку травленному, напрямик бежать. Ведь главное два-три дня перебиться, а потом Тузов в город вернется, другой разговор будет.

На станции огни засветили, семафор красным глазом на Дему уперся, и кажется Деме, что подмигивает: «нет, мол, не спрячешься, вижу, вижу, где разместился...»

Где-то далеко дрезина громыхает, ремонтные рабочие с участка едут: «Надо к сторонке сойти, а то спросы да расспросы начнутся...»

Под откос спустился, на боринке место посуше выбрал!

«Вот здесь може и ночь скоротаю», — про себя подумал и начал вокруг себя шарить — палка не попадется ли, чтобы на случай от зверя оборониться.

Не весело человеку, ежели вот так одному среди леса затеряться. Чего только в голову не придет. Но страшно только первое время, покуда глаза к потемкам не привыкли. Дрезина все ближе и ближе катится: «сейчас мимо меня проедет», — Дема на колени встал и в просвет между сосен уставился. Не разобрал кто, а что-то много народу на тележке жмется. Проехали, и Деме больше ждать нечего, надо к ночи готовиться. Хорошо бы уснуть сразу, а то всякие мысли в голову полезли.

«Нет меня разнесчастнее на всем белом свете», — это первым долгом выплыло. А дальше начал припоминать, с кем и когда вот такие приключения бывали. Первым на ум Ефрем Андреич пришел. Свой мужик — мызинский. Этому тоже жизнь вот как солоно пришлась, что даже Дема не позавидует. Главное у них с ним большое сходство оказалось. Тому тоже в жизни не везло, и не

то, чтобы человек разгульной жизни или лежебок какой, а до самой гробовой доски отрады не видел. Два случая о нем у Демы в памяти. Первый, когда Ефрем еще ребенком был, — это Деме отец рассказывал, — спросят бывало: мальчик, как тебя зовут?

— Рефрем Ондреич...

— Как?

— Рефрем Ондреич...

— Как, как, сукин сын?..

— Рефремко, — и рюмы распустит.

А второй случай и Дема помнит. Ефрем во все тяжкие кидался, чтобы как-нибудь нужду побороть, вот и подрядился он новоселам-пожарникам на все двести дворов леса навалить. Подобрал артель и в рощу отправился. Работа пошла хорошо, а Ефрему по договору с артелью полкопейки с каждого дерева. Недели две поработали, новоселам дорого показалось. Велели работу остановить, а насчет платы уперлись: «дорого». Ефрем христом богом просит не задерживать: «такая поколота». Те наотрез уплатить отказываются. Вот здесь и Ефрем Андреич сбрендил: вместо того, чтобы всем за одно расчета добиваться, он начал новоселов просить, чтобы его денег не задерживали. Особенно Деме хорошо запомнилось, как Ефрем Андреич на сходе упрашивал:

— Почтенные христиане, отдайте мои поркопейки!..

Может-быть и запомнилось потому, что у Ефрема не «полкопейки», а «поркопейки» выходило.

За Ефремом Хрупало выплыл. Этого он стариком застал. Хозяйства у него в руках не было, племяннику Евстропу передал, а у того семья десять душ и никак лошадьми обзавестись не мог. Какую ни купит, все на три месяца. Конечно,

Хрупало лишний рот был, а как ты ему куска хлеба не дашь, когда сам обещался до смерти покоить.

Вот этот «покой» Деме и вспомнился. Зашел он как-то случайно на двор к Евстропу, слышит кто-то гайкает: «ать, ать!» — и будто ремень посвистывает, а кто-то другой только стонет не шибко. Завернул Дема за клеть, а там Евстрат своего дядю чересседельником «покоит». Увидал Дему, выругался: «что ты по чужим дворам догляваешь?» Дема к воротам повернул, а в глазах Хрупало: рубашка на голову вздернута, портки на онучах задержались, а ниже спины вся мякоть, которая еще к костям не присохла, сплошная болячка с гноючими яминами.

Зачем все это Дема здесь в лесу вспомнил, и почему все это так долго в памяти удержалось, он и сам не придумает, а какая-нибудь причина всему этому есть, но какая, вот тут и подумаешь. Не иначе свое несчастье растворить в чужом горе хотел.

Лучше не думать.

Папироску свернул, начал по карманам спички шарить: нет и нет. Что ты будешь делать, а хорошо помнил, что в грудовом кармане были. На нет и суда нет. Папироску на сучок повыше головы приладил, а покурить хочется, терпенья нет:

«Неужто на станцию итти?».

Перетерпеть взялся и снова в старинке копаться начал. И странное дело: вместо того, чтобы свое несчастное положение обдумать и какое-нибудь решение принять, он пустяками голову забивает: парнячью жизнь вспомнил. В Мызине за ним одна девка гналась, Катька Косоротова, только он от нее, как чорт от ладана. Не лежало

сердце, да и все, с самой что ни на есть с последней и по улице пройдет и на беседе пошутит, а Катьку на дух не надо.

Один раз Ванька Семитка Дему к себе в сарай ночевать позвал: «пойдем, да пойдем». Ну и пошли. Дема особенно не упирался, потому что домой мимо Косоротовых итти так боялся, как бы Катька не перехватила.

В сарай заперлись, понемножку светать стало. Сена немного, только что с усадьбы, а из лугов возить не начинали. Легли и промеж себя разговор завели. Долго ли, нет ли так калякали, потом начал сон клонить, сперва Дема замолчал, потом и Семитка последним словом захлебнулся. Деме показалось, что кто-то по перекладине над ним ползком пробирается. Так и есть, на крыше одной тесины нехватало, и на перекладину от зари свет падал. «Подползет, хорошенько разгляжу», — подумал. А когда ползучее на просвет вытянулось, у Демы волосы дыбом встали — Катька Косоротова! А чтобы подумал, чего тут страшного: девчонка мозглявая, а их двое, и каждый телегу за колесо остановит. Так нет, так и замер весь:

— Ваняк, — Семитку в бок толкнул, — видишь, что ли?..

— Вижу, молчи давай, — а у самого тоже зуб на зуб не попадает.

А она все ближе и ближе, и как только с Демой поравнялась, с перекладины, как мешок, возле головы пала.

Тут уж оба не ведержали, разом на ноги вскочили и вон из сарая. Ворота были на засов приперты, отпирать некогда. Как ахнули оба враз, так чуть в щепы не разлетелись. На улице день белый, опомнились, что такое? С чего, дескать, такого страха нагнали:

— Давай-ко, сволочь крапивой отпотчуем...

В сарай вернулись и туда и сюда — нет Катьки. Они на крышу и там нет. Ванька взял железные вилки и ну по всему сараю в сене нащупывать. Нет и нет, словно сквозь землю провалилась. Точно по уговору опять на волю выскочили и почему-то еще страшнее сделалось.

Вспомнилось это Деме в темном лесу и такой на него страх напал, что пошевелиться боится. Кажется, вот только поведи глаза в сторону, она тебе тут снова и явится, а ведь Дема сам знает, что Катьки года два и в живых нет. За хлебом в Ташкент ездила и где-то на станции умерла.

Потихоньку, словно кого обмануть собирается, Дема на корточки привстал и прицеливается, как бы попроворнее из-под сосны вынырнуть, а тут, как на грех, поблизости какая-то птица шарахнулась. Дема как, ошпаренный, на дорожку метнулся и начал по откосу вверх цапаться. Торопится, в груди дыханье перехватило, а в ногах спорыньи нет, шаг вперед и два назад отъедет. Кое-как на дорогу выполз и только здесь уж дух перевел. Обернулся назад, дескать, кого за спиной нет ли и прямо на красный глаз семафора кинулся.

Знакомые, что в поселке, что на станции есть, но как добрых людей поздней ночью тревожить, каждый удивится: «что, мол, за беда на ночь глядя погнала», а как признаться, что с попом неудовольствие вышло. Соврать, все одно потом узнается, а правду сказать, и тут не помилуют, за бога здесь еще крепче, чем в селе держатся. Повернул к посудному складу и с поля в заборе доску отнял. Это еще раньше у него здесь лаз был, на случай, когда Саньку перехватить надо было. Под навес забрался, словно дома у себя располагается. Покуда на кулях укладывался, опять

покурить захотелось, только вспомнил, что спичек нет, да хотя бы и были, здесь место не такое, того и гляди пожар сделаешь. Лежит, не журкнет, боится, как бы сторож не накрыл. Главное, за вора примет или за поджигателя, а ведь это Деме и раньше в голову приходило, когда его Лебедев с насиженного места столкнул, только еще бога побоялся, а то без греха бы не обошлось.

Раздумался: страшнее, чем в лесу сделалось. Пакгаузный сторож захочет выслужиться, не будет спрашивать «какими судьбами», а прямо к начмилиции и в район отправят. Начмилиции его еще по кокиному делу помнит, он тебе нипочем не расстанется, чтобы снова в острог не запятить.

Целую ночь до самого света Дема уснуть не мог, и только когда уж сквозь крышу золотые полосы обозначились, а по лесным полянам тетерева забормотали, его сон повалил, и Дема забываться начал.

«Будь что будет, а дальше никуда не пойду»...

* *
*

Прошло три недели, а Дема и сейчас хорошенько не разберет, спал он в ту ночь или на яву бредил, только любопытный человек подвернулся, с которым до белого дня под навесом проговорили. Откуда взялся? Кто такой? Спросить не удосужился, а что поговорить — поговорили. Теперь он все больше и больше понимает, о чем тогда речи вели. Это не то, что с своими приятелями; встретились:—«Ну, как, брат?».—«Да, что уж, мотаемся, как говно в проруби»...— Нет, здесь разговор был умственный: Дема спрашивал, а тот отвечал. И странное дело — лица его не запомнил. То он ему Пуговкиным представлялся, то Лебедевым, а то

покойным товарищем Потаповым. С его слов и разговор завязался:

— Я ли тебе говорил, — будто Потапов снова про старое, — рукава распустишь, каждый теленок наступит...

— Не от нас это, — попробовал Дема не согласиться: — нашему брату на роду написано, чтобы каждый тебе по ушам хлестал...

— Любопытно, кто же это такой?

— Конешно, не наш брат, а кто свыше приставлен...

— Свыше, говоришь, а это что такое?

— Ну, вот, кто да что, словно не понимаешь...

Тут Дема про себя думал, покуда тот с мыслями собирался. Дема сам не знает, кто мужичьи распорядки уставляет, только одно ясно — никогда мужик по своей воле не жил. Всякий, кому не лень, его в свои лапти обувал. А мужик, что бык, упрется, а то назад пятится.

Чуднее всего то, что Деме кажется, о чем бы он ни подумал, тот без слов понимает, а Деме и найдено: пусть его знает, он ни от кого не спрячется, если уж против самого бога пошел...

— Против попов, — тот не вытерпел и свою поправку внес.

— Все едино, что бог, что поп — одна лавочка...

Дедушка Демин, отец Парфена Баюна, бывало, всем молодым рассказывал, как его отца садить картофель заставляли. Барин у них был — «поискать еще», что трезвый, что рассудительный, кажется, за всю жизнь самолично никому в зубы не сунул, а тут полдеревни выпорол за то, что картофель садить отказались. Покобенились мужики, а все-таки посадили. Осенью егерей и дворовых на поля выслал, чтобы за народом надзирали и картофель в бороздах не оставался. Выкопали. Часть

велел в общий амбар ссыпать, а остатки на каждый двор поровну.

— И ели, — Дема вслух сказал.

— Покорились, значит?..

— Под арапником... Давились, а ели...

— А теперь?

— Первый фрухт...

Смеется и на Дему смотрит. Теперь и Деме видно, что у того в голове складывается: «картошка чертовы яблоки, картошка адамовы яйца, картошка погань заморская, а заставили и едите»...

Вот и всегда так, — Дема с этим согласен.

— Хорошо или плохо по-твоему? — тот спрашивает.

— Плохого тут не предвидится, так полагать надо...

Дедушка много всего рассказывал, всего не припомнишь, а вот уж когда Дема в совершенных летах был, так на его глазах, сколько случаев было.

Еще в старое время, когда в Мызине пожар случился, губернские власти наехали и начали усадьбы корежить. Деревню чуть не на полверсты растянули, а раньше в ней и с конца в конец перекликаться можно было. Вот и пошла канитель. Кто кричит: «в землянке, да на своей усадьбе, если строиться разрешенья не дают». Другой волосы на себе рвет: как он свой огород другому уступит; у третьего кое-какие постройки на своем пепелище уцелели, надо на новое место переносить.

Начальство им всякие резоны выставляет, дескать: «в пожарном отношении, надо опасность устранить».

— Уж от божьей воли никуда не спрячешься,— старики им в глотке перехватывают, — а если теперь бог наказал, так почему — всем известно...

Перед этим у одной бобылки в моленную образ купили — «Неопалимая купина царица небесная»— и значит из деревни вынесли; и что же? — недели не прошло, как деревня занялась, ни одной избы не уцелело, а до этого шестьдесят годов все Мызино чуть не под одной кровлей стояло. Вот в чем штука-то, а они о мерах предосторожности да о том, да о другом.

Как ни бились, а мужиков сломили. Земство страховку не выдавало до тех пор, покуда общество на новый план не перешло. Конечно, дело не в одной страховке: кому кирпич, кому железо в ссуду давалось, а на плановую не согласен—в шалаше живи.

Теперь и тот в Демино рассуждение не ввязывается, видит, должно быть, что у него свой котелок заработал, а потом как-то и совсем у Демы из глаз выкатился. Дема уж один додумывал.

Много всего в голове побывало.

Например, наше время взять. Может-быть православные такой маяты не переживали, как бел свет завелся, а чего ради, спрашивается... Что это, мужик всякие кровопролития да революции устраивает?.. Нет, извини пожалуйста, в этом деле он руки не приложит...

Глупости, все это Дема сам придумал и никакого т о г о не было. Не спал, ну, в голову и лезло, чего не подобает. Теперь вот не станет над пустяками голову ломать, когда его дело по-другому оборотилось. Данило ему прямо сказал:

— Насчет бога ты это зря. Никто тебя за язык не тянул, а через это с народом грех будет. Нипочем мужики не забудут, как ты большевикам подлаивал...

Дема и сам не рад, что не в свое дело ввязался, только поп ему вот как осточертел, что сказать невозможно:

— С крестом да молитовкой, косматый дьявол, а человека вплоть до ручки заездил... За все время, что работал, он мне в глаза не плюнул. Где это видано?..

— По суду требуй... Врет, на шармака не отъедет. Ты в профсоюзе...

— Был, а теперь и деньги не вносил...

— На это не поглядят, а что полагается... заставят... Прямо в губернию—вот, мол, какое дело...

Деме выбирать не из чего. Будет толк или нет, а сходить надо. Тут не выгорит, к Пуговкину толкнется, с Тузовым посоветуется, а сидеть сложа руки да голодной кончины дожидаться — последнее дело.

Пасха через неделю после благовещенья, надо до праздника в городе побывать, а то где ему будет две недели трепаться. В этот же день вышел, чтобы до ночи в Мызино поспеть, а утречком—в город.

Шел да все и раздумывал, что ему в ту ночь пригрезилось, пока под навесом дрожал, как бы в новую историю не влопаться.

Солнце за тучкой, похоже на закат пошло, а где скрозь тучку прорвется, сейчас же скаток золотого холста выкинет и по земле растянет. Вот он сейчас опять свиваться начал и по макушкам Дубровского бора лижет, а через минутку-другую глядишь, на мызинские крыши лег.

Сел Дема у околицы, из сапогов песок вытряхнул. Сапоги совсем новые, а на подъеме пороться начали.

Потыкал, поковырял, повертел во все стороны: «Чинить не минуешь. Вот уж, в городе — там видно будет».

В прогон как раз Демину избу видно. Окошки забиты, на двери драница крест на крест. Все так же, как Дема в последний раз видел, только вот

трубу, должно быть, дождями размыло, да на крыше конек на сторону пошел:

— Без хозяина... Ничего нет мудреного...

Бывало Дема из этого же прогона к своей избе подходил и всегда Варюха либо на завалинке либо из окошка высунется, на робят глядит, как они возле канавы кубарются. Дему приметит и лицом просветлеет:

— Это ты, Дементий?

— Чорт что ли в моей роже?..

Варвара не рассердится, а примется скорее мужу обед собирать или чай, что придется. Теперь уж его никто не встретит, ни поговорить, ни поругаться не с кем.

«Как оно сразу весь обиход нарушило»,—Дема подумал и снова обуваться начал. Ночи дожидаться не станешь, куда-нибудь итти надо. К первому Пискунову надумал. Больно ему Паньку жалко. Петька убежал, Верка, поди, тоже не заглядывает, а Сенька еще сам ребенок.

«Вот, посетил господь, — Дема на свою судьбу попенял, — за какие великие прегрешения?»

Самого Пискунова дома не было. Матрена у печки возилась, а Панька возле чугуна с картошкой. На отца мальчишка «ухом не повел», ну и Деме не до этого, чтобы нюни распускать. Поздоровался с Матреной, говорит:

— В город собрался, да робят наведать захотелось...

— Наведай, наведай... Отец, кто тебе закажет... Только детушки-то у тебя беспутны... Убежал, как вор какой... Што ему обида какая, али хлеба не давали?..

— Глуп еще, в понятие не вошел, — Дема за Петьку заступился, а чтобы Матрену не раздроблять, говорит:— Паньку я може с собой возьму...

— Возьми, возьми, сделай милость, цепиться не станем!

Видит Дема и тут не угодил. Чего же ей проклятущей надо?

— Я к тому,—Дема поправиться хочет,—чтобы тебе руки развязать...

Не поймешь, чего Матрена хочет. Дема к ней и с той и с другой стороны подходит, а угодить нет возможности. Скажет возьму, — не любо, оставлю, — и это не так.

— Може, вам парнишко в тягость, — наконец Дема решился. — Вот в городе побываю, ежели Петьку не сыщу, с Панькой я одумаю...

Матрена помягче стала и Дему картошкой потчует:

— Поешь, до городских булок далеко! — и чугун от Паньки по столу подвинула. Паньке не полюбилось, явное дело Матрена обидела. Деме парнишку жалко, а приласкать духа нехватает.

— Ешь, ешь, — говорит, — про обоих хватит и подолом панькиной же рубахи тому нос вытер.

— Ты что это перед праздником самым в город собрался?—Матрена Дему спрашивает.—У вас, поди, теперь каждый день служба...

— Попы молются...

— Как не молиться, страшная неделя... Я вот, окаянная, второй год поговеть не соберусь...

Дема боится Матрене перечить и промолчать не хочется.

— Теперь за этим не гонются, — Дема Матрену оправдывает: — сами попы закон нарушают...

Рассказал обо всем, что он за попом подметил, только Матрена на его слова небольно располагается.

— Каждый за себя богу ответ даст...

Дема на себя рассердился: да что это в самом деле, перед каждой старухой приходится голову

клонить. Да пусть ей пусто будет. Скажет: «бери Паньку!». С нашим удовольствием! Возьмет, и в городе где-нибудь в приют устроит. Он это и Матрене сказал, а та, кто ее душу знает, начала вилять и впрямь и вкось: «мы де парнишку не гоним. Сирота, бог с ним, ежели он кусок хлеба, скажем...»

— В чем же дело? — Дема допытывается.

— В том, родимый, — Матрена фартуком лицо утерла, — больно умны стали. Вон ты, как в селе отличился... умнее-то тебя не выискалось...

Дема сразу понял: за попа старуха злобится. Видишь ты, дело какое!

— Про попа что ли? — Дема спрашивает.

— Ну да, про попа, — Матрена снова огрызнулась.—Твое ли дело, Парфеныч, ты бы то подумал... Как хочешь, народу страсть не полюбилось... С кем связался: с мальчишками! Нет, нет бог тебе не попустит...

— Терпенье лопнуло,—Дема оправдывается:—все только говорят, а сами не делают...

— Так по-твоему надо бога провергать? Нет, мила душа, ты бы просил его, владыку небесного, чтобы он тебя на путь направил...

Переночевал Дема все-таки у Пискуновых. Вечером Верка забегала с отцом повидаться. Этой хорошо, ни на что не жалуется, «а в своей бы избе лучше». Это она ему на дворе шепнула, когда он пошел за ней ворота запереть.

До города сорок верст, подумать время найдется. Шел и думал. Обо всем думал: о себе, о детях, о земле и о порядках новых. В старое время разве бы он дошел до этого?.. А все новую власть хвалят. Власть! А что такое власть? Раньше — царь, губернаторы, генералы, а теперь? Бывало пошел бы к земскому начальнику, пал в ноги: так и так ваше высокоблагородие, помо-

гите на ноги стать... Детишки, земля в обросе, а начать не с чего... Ну, глядишь, и клюнуло бы. А теперь, куда пойдешь, кому скажешь?.. Вот, например, Пуговкин. Покуда на заводе был, тоже за начальника считали, а тут дело как-то по другому обернулось и самому начальнику по шапке. Нет, при нонешних порядках видно на все четыре копыта не станешь. Главное у начальства лица нет.

В городе он первым долгом Пуговкина разыскал. Тот его в профсовет направил, а оттуда рассыльный в какой-то губотдел повел. Над дверями доска прибита: «Губотдел союза химиков». Вот здесь и остался, а когда какая то бабочка спросила, «в чем дело», Дема сразу о трех вещах заговорил: прежде всего о том, что вот уж «скоро год будет, как он нигде места не согреет»; дальше—что «в деревне у него даже кошки в дому не осталось», а самое последнее — «поп православных дурачит и святые дары куда ни попадя выплескивает».

Все трое, которые за столом сидели, между собой переглянулись, а молодой человек, с прической и бантиком под глоткой, посоветовал ему преосвященному жалобу подать.

— Меня товарищ Пуговкин к вам послал, — Дема удивляется, — велел все до бабочки выложить... Вот и книжка, — показывает.

— С декабря прошлого года у тебя членские взносы не уплачены...

— До взносов ли, ежели другой день не жрамши ложился...

Тут и с бантиком спросил:

— Сколько получал на последнем месте?

— Ничего не получал. Кто сколько даст... Из милости...

В губотделе Деме ничем пособить не могут. Одно:

— Подай на попа жалобу, уплатит за все время...

Ни с чем Дема к Пуговкину вернулся:

— Где уж с попом спорить... За него весь приход встанет...

У Пуговкина своего дела по горло. На самого в губкоме чортом глядят, где уж ему за Дему вступаться, а все-таки велел за Тузовым сходить и вместе с тем прошенье написали, чтобы «церковный совет села Спас-Купалищи уплатил Дементию Баюнову причитающееся ему вознаграждение за пять месяцев по ставке профсоюза».

Прошенье не деньги, на него хлеба не купишь, а жить чем-нибудь надо. Прошенье в вик по почте послал, а сам в городе остался, какой-нибудь работы поискать. Первым делом к Корочкину:

— Я бы теперь хошь на мост...

— На мосту работа приостановлена... Месяц-другой подождать придется...

Нет, возле города взять нечего, теперь это Деме без очков видно. Корочкин, так и быть, скорее всего о Деме и думать забыл, а вот Пуговкин, другое дело, приятель считался. Ночевать все-таки у себя оставил. Напоил, накормил, как следует и до поздней ночи прокалякали.

В городе Пуговкину тоже не с медом. На новой работе ему все одно, что азы твердить, а спецы народ особенный, прямо не покажут, что комиссаром недовольны, а в деле всегда ножку подставят. На словах они для советской власти лоб расшибут, а советского работника поддержать, этого не дождайся:

— И мечешься, как угорелый... За целое учреждение отчитывайся, по всем статьям носом тычешься, а на тебя все-таки как на лишнего человека глядят... Пятая нога теленку...

Дема в этих делах ничего не понимает. О том, что Пуговкин пустяками себе сердце надрывает, ему не скажешь в лицо, а если рассудить, чего еще: денежки получает исправно, работа не замаяла, просидел там пять-шесть часов, иди на все четыре стороны, а что там какие-то люди недовольны, так с этим ничего не сделаешь. Да и то сказать, не они над ним поставлены, а он над ними.

Сколько ни думал Дема, сколько ни бродил по городу, а пришлось в деревню вернуться. Дожидайсь, когда там суд с попа присудит, а святым духом не проживешь. Брюхо—оно такая штука, если его не удоволишь, оно тебе покоя не даст.

Пришел он в Мызино вечером. Не доходя еще до деревни, по меже с дороги своротил, чтобы на улице кому на глаза не попасться. На усадьбе у него все прясло растаскано, задняя калитка с петель упала. На крыше слеги подгнили, солома дыбом встала.

«Вот оно — без хозяина...».

На двор взошел, позабыть захотелось, что он сюда вором вернулся. Будто все прошлое сном было, а на крылечко прыгнул да доска заскрипела, всего потом обдало, как бы не услыхал кто. Ключ от избы у Верки спрятан. За ключом он не пойдет. Потрогал замок, а он сам свалился.

«Побывал кто-нибудь»,—Дема подумал и в избу дверь нашарил.

В избе было темнее, чем на дворе, пахло сыростью, паутиной глаза заволокло: «ладно, все в своем угле, не на улице». Огня зажигать не станешь, в окна с улицы свет приметят. На кутник сел, какое-то тряпье в изголовье:

«Вот и постеля готова...».

Уснул, как убитый, а утром проснулся, в щели между досок, которыми окна заколочены, сол-

нышко свои лапы протянуло и Дему по голове гладит: вот, мол, где ни скитался, а своего предела не миновал.

Лежит Дема и вставать не хочется. Полутемная изба о чем-то старом напомнила. Еще отец с матерью живы были. Весной Демину свадьбу справляли. С вечера сваха чуть не на головах ходила, а когда стала заря заниматься, молодых на подклеть увели. Варвара тогда совсем другая была, что бела, что румяна, а главное, Деме баба в диковину, а тут своя, делай, что хочешь, и никто не воспрепятствует. Свахи повертелись и одних молодых оставили. Дема не из бойких, а Варвара и вовсе своих рук боится. Лежит, как свахи уложили, и поворотиться не смеет. Дема к ней под одеяло, говорит:

— Скоро скотину выгонят...

А Варвара в потолок уставилась и глаз не отводит, словно ждет, «что же дальше будет?» Молода, молода, а от подруг слыхала, что на свадьбе не только про скотину разговаривают. Конечно, и у Демы не то на уме, да ведь сразу быком не попрешь, а Варюха лежит такая смирная, словно у нее и языка нет.

«В нонешнее время не стали бы так-то,» — Дема подумал, а тогда ему чего-то стыдно сделалось, а кого? Одни на подклети.

Также вот и тогда, когда свахи молодых поднимать пришли, Деме первым долгом солнце в глаза кинулось. Потолок щелястый, а оно такое яркое, никуда от него не спрячешься. Да не только солнышко в щели протекло, думается, что до самой нутрены и его самого пронизало. Не знает чему, а радуется. На Варвару поглядел, а она лицом в подушку и головы не поднимает.

Вот все это сейчас перед Демой в голове прошло и опять, как тогда, радость в груди шевельнулась, да не надолго. Вспомнил, какая нужда его в покинутые «хоромы» загнала, поглядел на себя, точно на мельнице был, весь в пыли вымазался и... снова в пыльное тряпье головой ткулся. Будь слезы, в самый бы раз Деме поплакать, только их теперь на деньги не купишь, схватило за сердце, в горле комок катается, а что бы слезы, их не было.

После полден у Осокиных на гумне Верушку выследил:

— Забеги на минутку, про все расскажу...

Девченка зашла и под фартуком ломоть хлеба принесла. Дема пожурил, что без спроса, а поесть вот как захотелось, что терпеть моченьки нехватает. Поговорили, Верка поплакала, а успокоилась на том: ежели суд с попа стребует, никуды Дема из деревни не пойдет... Хошь в батраки к кому, а все-таки дома...

На него и то вся деревня ахнула, когда он в таком виде у себя обозначился. Другие не только чтобы мужика пожалеть, насмеяться норовят над человеком. Этот же Тумак:

— Ждали, говорит, с моря на кораблях, а ты из лесу на лыжах...

Осокин с Пискуновым, кажется, мужики правильные, а встретятся, небольно ласково говорят. Осокин прямее, он Деме в лицо сказал:

— Нам с тобой не в бирюльки играть. Говори, что с землей думаешь?..

— Покуда и сам не знаю...

— В этом и дело. Я вот яровое должен сеять, а ты вдруг надумаешь опять за землю взяться. И девчонка тоже. Зиму прокормили, а ты и ее сведешь...

— Насчет этого будь покоен, — Дема уверяет.— Куды мне! О себе одном не одумаю...

С Пискуновым он тоже договорился.

* *
*

С благовещенья и до самой фоминой недели Дема по деревне толкался то к тому, то к другому. С тех пор как по волости слухи прошли, что Баюнов «против бога пошел», деревня Дему «из своих» вычеркнула. Мужики еще ничего, а бабы поедом съели:

— Какой ты есть человек после этого?

— Мало тебя бог карает?

Про этих что говорить, Пискунов с Осокиным и те от Демы отвернулись: «пропащий человек». Боялись, как бы Дема опять земли не стал требовать. Бывало, Тумак или Дупель начнут на его счет проезжаться, ни один не вступится, а когда Дема в артель попросился, ни один за него голоса не подал. Поп на пасхе с иконами ходил и в каждом доме не забыл про Дему вспомнить. Батюшка удивляется: «как еще таких людей мать-сыра земля носит».

— Безумец, на кого восстал, на господа бога!

Кокин Петруха не велит к ста ворожеям ходить:

— Явное дело, большевики подкупили...

— Вообще,— отец Павел дополнил: — кому вера православная, как бельмо на глазу...

С этим весь приход согласился, только никто не знает, сколько Дема «огреб» за свое предательство. Каждому известно, что у Демы не каждый день кусок хлеба в запасе, кормится бог знает чем. В первое время амбарушку продал, ну кое-как перебивался, а теперь из двора во двор ходит, по коврижке хлеба займует.

Артель отказалась, Дема попытался до Якова Мысеича добраться. Пришел на реку, свои приятели разговаривать не хотят. Стал дожидаться, когда инженер проснется, да надоело у людей на глазах мотаться, пошел вдоль берега, где у рабочих бараки построены. У самого крайнего Дему Кирька заметил:

— Заходи давай, — к себе в кухню зовет.

В кухне щами пахнет, а на столе хлеба гора. «Что бы поесть попотчевал», — Дема про себя подумал, а Кирьке разве в голову придет. Говорит о том, как прошлый раз попы на комсомол навалились, как Тузов с ребятами их на собраньи покрыли и как все на Дему опрокинулись.

Деме об этом не надо рассказывать, все это по его шкуре прошлось:

— Через это нигде работы не добьюсь...

— А ты вали к Якову Мысеичу...

— К нему и пришел, — а сам с мягкого хлеба глаза не сводит. — Откуда хлеб берете? — спрашивает, — и будто попробовать небольшой кусочек отломил.

— Из Томилина возят... Что ты в сухомятку, ешь, я тебе щей налью...

Дема не стал отказываться и вот как натрескался:

— Как есть на поминках!

Кирька говорит, что мужики и здесь о Деме вспоминают, только все больше с руганью. Дупель стращает, что через тебя может деревня пострадать: живешь ты один, ни к какому делу не привержен, а пить-есть надо.

— К нему обедать не хожу, — Дема рассердился, — кланяться не стану...

Поговорил с Кирькой — и с Яковом Мысеичем говорить отдумал: все одно с артелью не ужиться.

Обещал Кирьке в воскресенье в Починки заглянуть, кое-какое лохмоно Данило из сторожки к себе переправил, так забрать надо.

До Мызина дорога лесом. По сырым местам еще Пуговкин по бокам канавы вырыл, а где земли на лопату не подденешь, из хвороста и бревен гать устроил. Летом здесь пройти одно удовольствие: трава густая, зеленая, по всей болотине в рост человеческий, а поближе к дороге — цветы и лопух на белой подкладке. Зелено и мягко, до того мягко, будто земля под ногой подпрыгивает.

Повыше, где гать в песчаный взлобок уперлась, если немного в сторону своротить, «чудотворный» колодчик будет. Маленький, с десяток венцов отпущено, видно, как из песчаного днища белые ключи холодную воду мутят. Рядом с ним крестик воткнут. Простой дубовый, весь в лишаях зеленых, у самой земли в два раза берестом обернут. Под самым коньком две драницы на скат приколочены. Лет двадцать тому назад можно было на нем еще лик отличить, не то «Егорий победоносец», не то «Трифон сокольник», только с лошадью. Пониже медный крест прибит и позеленел от сырости. На кустах и на самом крестике всякие тряпки да ленточки. Это с недужных ребят матери оставляют вместе с приткой, грыжей, родимчиком и другими болезнями. Вровень с землей желобок из колодца. Здесь и трава и цветы особенные, не те, что вдоль дороги выросли. Особенно голубых много, а по ним словно свечки расставлены — ярко-красные на бледно-зеленой ножке.

Один раз в год сюда крестный ход устраивают. Молебен служат, детей купают и «свяченую» воду потом по домам разносят — «от всех недугов пользительна».

Говорят, этот колодчик не зря вырыт. Дема еще от отца слыхал, что в старое время такой случай был:

Накануне Петрова дня у феклистова дедушки мальченко пропал. Пропал и пропал, как в воду канул. Всей деревней искать принялись, все колодцы, все мочажынки граблями исшарили—нет и нет, а пора рабочая, в лугах сено подвалено, рожь, хошь сейчас жать принимайся. Два дня поискали, а на третий миром решенье вынесли: искать родителям не заказано, а православным пора за работу приняться. Так и сделали. Каждый своим занялся, только феклистова баушка от своего детища не отступилась и по целым суткам в лесу пропадала. Ночью на баб мызинских страх нападал, когда услышат, как она словно лешенький по лесу своего Егорушку кличет.

Три дня и три ночи домой не показывалась, а на четвертый утром, только бабы принялись валы разбивать, идет Олена из леса, а на руках чего-то фартуком обернуто.

Так все и ахнули:

— Жив ли? — спрашивают.

— В живности господь обрящил...

Вся деревня тогда же заметила, что Олена как будто не та стала. Ни разговоров, ни веселья прежнего, все как рукой сняло; с лица и то на прежнюю непохожа. Трое суток в лесу на всю жизнь печать положили. С неделю никому говорить не хотела, какими путями ее господь на своего детища навел, а потом уж, когда Егорка начал снова по улицам за телячьими хвостами гоняться, соседкам на завалинке призналась:

— Не помню, во сне или в яве, а только-когда я на траве свалилась, возле Темного врàга, кто-то мне словно в уши вдунул: «иди, на Коровьем броду

ребенчишко плачет». Вскочила, как ошпаренная и только сейчас вспомнила, что в этом месте и впрямь не бывала. Бегу и света не вижу. До гати дошла, сейчас поворотка будет, а у меня ноги не идут. Села, прислушалась, нигде не журукнет. Сотворила молитву и прямо по тропочке. Вот и Коровий брод. По берегу папоротник, а дальше—кочи белым мохом окутаны, а по нему гонобобель в синих сережках и баговник в цвету. Голова закружилась, хотела уж на пне посидеть, чтобы сердце отудобело и... как только меня царица небесная надоумила холодной воды испить? Наклонилась к калужинке, а он под кустом на кочке в комочек сжался...

Олена и после всегда на этом месте плакала, а сейчас Егорку подманила и стала его перед соседками миловать. Бабы тоже плакали и молитвы шептали. После у мальчишки допытывались, как это он, пятилетний робенок, мог без еды четверо суток прожить?

Егорка и сам не знает, и только когда мать стала другим рассказывать, что «святым духом питался», в это и он поверил, хотя хорошенько не знал, что это за штука такая. В Мызине годов пятнадцать пастух Савелий пас, а прозвище ему было «Мышиный дух»; почему-то вот Егорке и казалось, что это он его в лесу подкармливал.

— Старичек седенький, в лапотках новеньких...

С тех пор и пошло: «Никола угодник младенца питал».

Священник посоветовал «в память чудесного спасения на этом месте колодезь выкопать и часовню построить». Родители все этим же летом выполнили, и с тех пор часовня на Коровьем броду чудотворной стала. Прошло годов сорок,

часовня до основания развалилась, и только один колодчик остался да крест кое-кто из родни Кокиной в десять лет раз переменит. Сам Егор в турецкую войну под Плевной свою голову положил и племя после себя не оставил, а Феклист с Петром от младшего брата пошли.

Сидел тут Дема и обо всем этом раздумывал, не слыхал, как кто-то сзади подкрался: Феклист с лопаткой на плече, одет во все чистое, голова непокрыта и густо божьим маслом смазана:

— Помолиться зашел? — С Демой поздоровался и рядом с ним на кочку опустился.

— Так, отдохнуть присел...

Разговорились. Феклист пожаловался, что колодчик в забросе и святыня в небрежении.

— Народа со всей округи, а чтобы уход али што, этого не дождешься... Первым делом надо канавку прочистить, потом ключи отрыть, что-то мало их стало. Бывало из них фонтан бил...

Дема слушал неохотно. Боялся он, как бы Феклист его тоже в неверии не упрекнул, а молчать дураком тоже не хочется. Хорошо еще Феклист на другое перевел, а то бы срам один.

— Вот выбрал денек, потружусь, мол, для господа, а в день тут ничего не сделаешь... Нанять бы, а кого наймешь и кому такое дело доверить...

Дема догадался, что Феклист ему наветки дает. Что же, он не откажется, главное, в лесу никто и знать не будет. Феклист обрадовался и тут же подряд сдал, чтобы родники прочистить, канавку до самого ручья откопать, а над крестом и колодцем небольшой навесец поставить. Дела чуть не на неделю задал и о цене условились: Феклист ему пуд муки и рубль деньгами обещал.

На другой день Дема с утра начал. Досок ему сам Феклист привез, лопату, топор — все как следует. Только за топор взялся, а в руках уж какая-то крепь появилась. Топорище между пальцев зажато и будто к ладони приросло. Вертит им во все стороны, а оно как живое.

Прежде всего мелятник вырубил, чтобы возле креста прогалинку сделать. Столбы укрепил и перекладины бросил. Целый день провозился, а к вечеру стропила вывел, теперь только палубой обшить.

Сидит Дема под навесом будущим и на дело своих рук радуется. Как это ему свое халуйское дело опостылело: что на складе, что в церковной сторожке. Двадцать пять годов в работе, а тут вроде приказчика. Нет, не мужицкое это дело:

— Наш брат любит у работы лицо видеть,— Дема про себя рассуждать начал. — Посеял к примеру, глядишь, скоро ли всходить начнет. Сено высушил, скорее бы в стог сметать... Вот оно...

С раннего утра до поздней ночи в лесу, в десяти шагах от дороги, а никому в голову не придет с большака свернуть, на Демину работу полюбоваться. Зато он сам любуется, когда свежевыструганной палубой шатровые стропила покрыл. Желтым воском новая крыша под солнцем тает, а бронзовая сосна мохнатые лапы раскинула, словно невиданную красоту потрогать добирается.

Обомшалый крест заново рубанком острогал, медный крест песком нахолил, как тут на свое дело не полюбоваться! В колодезь заглянет, а там из белого песка, словно белые кудри на ветру, студеные ключи бьют. Берестяным бурачком зачерпнет, глоточек хлебнет, а остальное на лицо выплеснет.

Работа кончена, а уходить не хочется. На всю бы жизнь здесь один остался, только не при чем.

Правда, другой раз бабы с ребятишками набегут. Сначала испугаются, а как разглядят, что человек за работой — «такого бояться нечего». Станут ребят обливать, рев поднимется. Другой, как в огне горит, а как ключевой водой спрыснут, так его как береста крутит. Уходить соберутся, Деме за труды то лепешку, то пятачок сунут. Не брал на первых порах, а потом уж больно приставать стали: «помолись за болящего младенца», как тут откажешься?

А потом рассудил: «Каждый с другого берет, зачем же я буду отказываться?» И стал в голове прикидывать: «а что, ежели здесь навсегда остаться?» И тут же, как от мухи рукой отмахнулся:

— Не прокормишься!

* * *

По субботам у Феклиста в чайной ни одного стола порожнего. Все заняты. Служат гостям жена и племянник, Тошка Петрухин, а сам Феклист за буфетом орудует и с гостями занимается. В деревне любят не просто китайским зельем брюхо прополоскать, а чтобы при этом разговор душевный и от хозяина уважение. Кто, например, дома или на улице Короткова по имени отчеству назовет, а здесь «Андрей Петрович, пожалуйте». А за стол сел — сейчас тебе Тошка, как карточка:

— Чайку? С лимончиком?

Ну и тянет в такое место. У другого и денег-то всего двугривенный. Думает, думает, куда его определить: керосин есть, соль тоже, а больше на него и купить нечего. Одно только и остается, чтобы в чайной ему голову сломить, а то болтается в кармане, беречь надоело. Право, ей богу, пусть бы их с пяток было, глядишь — ситца два метра.

По субботам Феклист особенно готовился. Часам к семи вечера рабочие с моста шли, а если получка, и с завода набегали. Город далеко, торговли ближе никакой, ну и шли к Феклисту, а у этого «все двадцать четыре удовольствия», колбаса, ситный, селедки, а кому захочется душу подрумянить — и пивцо, и винцо, и суслицо. Заводские долго не засиживаются, взял, что надо, на минутку присел, хлебнул в тихомолочку, да и был таков, ну, а мызинские посидеть любили. Как соберутся с вечера, так чуть не до света прокомпанствуют. Главное—один день в неделе такой выпадает.

Баюнов нарочно попозднее метил, чтобы народа в чайной поменьше было, а того не рассчитал— у мостовиков получка. Что делать, взошел, не назад бежать. Прямо к буфету—«надо бы расчет покончить».

— Присядь, Парфеныч, уж больно некогда,— Феклист жалуется, а когда Дема за столик сел, хозяин распорядился Баюнову чаю подать.

В другое время сейчас бы все приятели Дему заметили, а теперь ни один даже вида не подал. Сидит Дема на отлете и только один Феклист нет-нет, да словечко кинет:

— Как, мол, опять в город?

— Думаю в деревне пожить...

— Без дела в деревне не годится. Это дачники...

Дема и сам знает, что без работы не проживешь, только где она, работа-то? На первое время хлеба ему недели на две хватит, если Феклист за работу отдаст, а на мелочь целковым обойдется. А дальше — там видно будет.

У Пискунова за столом все горланы артельные: двое Паниных, Тумак с Дупелем, а поближе к буфету

Фомин с Коротковым да кое-кто из деревенских примазались. С Балявиным Антип Гущин сидит и носом клюет — выпил лишнее.

Сидят, как у праздника. Пискунов то и дело с лысины пот смахивает, Гаврюха Панин из чайника по стаканам пиво разливает и все что-то вполголоса приятелям рассказывает. Деме видно, как он грудью на стол обопрется и шею вытянет. Наредь, наредь словцо долетит: «я тебе не совру», и по чайнику крышкой хлопнет.

В чайной было душно, даром что все окна растворены, пахло новой клеенкой и колбасой подгорелой, со двора в открытую настежь дверь наносило навозом и человечьей мочей. Дема сидел почти напротив двери и ему особенно было невтерпеж:

— Духовито больно, — Феклисту на дверь показал.

— А ты пересядь к окошку.

Нет уж, он лучше тут останется, а то подумают еще, что он нарочно на глаза лезет.

Тумак о чем-то с Гаврилом заспорил, другие уговаривают:

— Главное из пустяков,—Пискунов упрекает.— Делить нам нечего...

Феклист Баюнову глазком подмигнул:

«Гляди, мол, разгулялась голь по плеши вдоль»...

Дема только рукой махнул: «пускай их». Странное дело, на себя удивился: давно ли с робятами за одно был, а теперь, чисто ветром отшибло. Феклист, вот он какой ни на есть, а и то Деме сочувствует.

— Подлец народ, — Дема про себя решил.— Пьют, как на выхвалку, а мне наплевать больно.— И все-таки не утерпел Феклиста попросил и ему «парочку пивка подать».

Парочку выпил — еще думается, что же, за Феклистом пуд муки остается:

— Давай еще пару, а там вычти, что следует...

У Балявина за столом Гущин песню завел, от Пискунова подпевать стали. У Демы все путро замерло: «пьют, веселятся, а я как оплеванный».

Пискунова на двор поманило, мимо Демы идет, промолчать никак нельзя:

— Прохлаждаешься? — Дему спрашивает.

— Дело есть...

Со двора вернулся, опять за Дему:

— Загордел, Дементий, с приятелями знаться не хочет...

— Полно тебе, Пискунов, дурака валять... Что я не вижу, думаешь?

— Ничего ты не видишь... Так уж говори— от мира откололся...

Тумак на Пискунова сердится:

— А ты будет там, иди, дожидаемся...

Пискунов под умывальником руки сполоснул и опять за свой стол.

Балявин вслушался, о чем Дема с Пискуновым говорит, и тоже ввязался:

— Не за тот гуж тянешь... да! Всё человеком был, а тут все нехороши стали...

— Я тебе не жаловался...

— Надо бы!.. У тебя теперь целый город приятелей... Как же?

Дема нехорошим словом выругался. За Балявина Гущин вступился: «ежели кто против бога, это последнее дело».

К Пискунову за стол сковороду жареной колбасы пронесли. Облитая яйцами, она еще шипела и хлюпала. У Демы под ложечкой засосало, чуть-чуть удержался, чтобы себе такую же не заказать.

За Балявиным два раза жена заходила и никак не уговорит, чтобы домой шел. Завтра праздник, торопиться некуда, а возле двора какое дело? Вот покос придет, тут «не запьянствуешь».

У Балявиной жены язык бритва: «иди да иди»:

— Ты не Дема Баюнов, тому хошь целые сутки сиди, делать больше нечего, у тебя жена, дети...

— Что тебе Дема-то в карман наклал, — Дема не вытерпел. Ты за своим подолом гляди...

Про подол Дема помянул не с охальства какова, а просто баба грязава, никогда помыть не соберется. Балявину не полюбилось, к Деме чуть не с кулаками лезет. От Пискунова глядят, чем кончится дожидаются:

— А не подеретесь? — Дупель в огонь масла подлил.

— У самого охоты нет ли? — Дема Дупелю крикнул.

Неизвестно, чем бы это кончилось, если бы за Балявиным сын не зашел. Зашел, да с гармошкой прямо с гулянья:

— Папаша, домой, что это... Двенадцатого полчаса .

— Паня! — Балявин удивился. — Скажи, сделай милость!

Пойдет ли Балявин домой, когда еще только настоящее началось! Павла Тумак за свой стол усадил, снова у Феклиста пива потребовали, гармошка «кирпичиками» захлебнулась.

— Херовские песни пошли, — Пискунов отмахнулся. — Бывало, вот пели целой артелью, как ахнем «заводы мои»... так, не поверишь, себя позабудешь...

— Зря говорить нечего, хорошие песни и теперь есть, только, говори, петь не умеют, — это Дупель с Пискуновым не соглашается.

— Правильно, — Гаврюха к Дупелю палец вытянул, — я тебе не совру, уставности прежней не стало...

Покончив «с горемыкой девчонкой», полюбившей завод за кирпичики, Павел сразу перешел на плясовую. Пискунов повернулся на табуретке, подмигивая сидевшим рабочим, как бы приглашая их разделить его удовольствие.

Дупель нескладно сорвался с табуретки и слегка покачиваясь вышел на середину, припадая в такт гармошке. Вывернув колена, опустив низко голову и подняв лопатки, Дупель, казалось, хочет упасть на этот грязный пол и только выбирает посуше место. Потом он сразу развернулся во весь рост и плавно пошел по чайной, описывая правильный круг.

Ноги плясуна неторопливо, но с каким-то особенным тактом, мягко переступали по черте круга, а вся фигура словно перекликалась то с нежным, то с ухарски-бойким мотивом.

В то время, как ноги, еле касались пола совершенно независимо от музыки, плечи и руки служили продолжением ее. То одно, то другое плечо заходило вперед, точно пробиваясь сквозь чащу густой заросли, руки сами собой делали свое дело, с точностью маятника раскачиваясь вдоль тела. Вдруг, точно оторвав и бросив что-то перед собой, Дупель дрогнул всем телом, и негнувшиеся до сих пор ноги, получив неожиданную легкость, пустили оглушительную дробь.

Дырявые голенища стоптанных сапог, поддерживающие заплатанные штаны, с опустившейся до поджилок мотней, как бураки заходили вокруг тонких лутошками ног, не нарушая однако общего впечатления — неудержимой радости и пьяного не вином, а звуками восторга.

Сделав два круга, Дупель турманом повернулся на одной ноге и замер напротив Демы, опершись задом о столик с новой клеенкой. Дема растерянными глазами обежал по всем столам и заметив общее желание, чтобы веселье продолжалось, поднялся с табуретки, ожидая нужного такта.

Павел знал, что Баюнов первый плясун по округе, знал, что его не удивишь ни «казачком» ни «барыней», он ловко перешел на песню, озадачив желающих продолжения пляски.

Плавно и четко заговорила гармонь: «По улице мостовой шла девица за водой».

Дема, как и все, сбитый с толку на первых порах неожиданным переходом, скоро понял, в чем дело, и пошел, слегка пошевеливая плечами. Потом руки, ухватив какую-то особенную связь с ногами, начали медленно вздрагивать и, отделяясь от бедер, неподвижно замерли в воздухе, изображая коромысло:

Шла девица за водой
За холодной ключевой.

Пьяный восторг присутствующих сменился нежным участием к девице, встретившей на своем пути «молодого парня», может-быть давно ожидавшего этой встречи.

— Вот, дьявол! — не удержался Гаврюха и по привычке ткнул корявым пальцем в сторону Демы, когда тот, как бы убегая и прячась от назойливого парня, неслышно скользил вдоль круга.

Дема забыл все на свете, он видел голубое небо, яркое солнце, зеленую улицу, а по ней с тонким коромыслом на плечах, плавно раскачивая ведрами, проходила его судьба, его недостижимая мечта—Санька Паниха, о которой он боялся подумать, оглядываясь на себя и свое положение.

За ней парень молодой
Кричит: «Девица постой...».

Близость и четкая ощутимость воображаемой Панихи вызвала в Деме сладкое и волнующее чувство, новый прилив несокрушимого желания догнать убегающую девицу с тем, чтобы высказать ей всю грусть, всю тоску наболевшей души, страдающей в одиночестве.

Положив руку на голову, как бы придерживая шапку на русых кудрях, Дема пошел вперед, расправив широкие плечи, откинув голову назад, задерживаясь на носках и притопывая каблуками. Через два круга, каждому было ясно, что парень догнал, парень сломил робость любимой девушки, она в его руках, когда Дема, описывая полукруг свободной рукой, упал на одно колено.

Буйная радость охватила зрителей: Пискунов растерянно повертывался на своей табуретке, Балявин плакал пьяными слезами, вызванными не то хорошей пляской, не то присутствием его любимца Паньки, с таким мастерством отхватывающего на гармошке.

Дупель, безнадежно махнув рукой, пошел к своему столу, а Гаврюха, тыча пальцем в грудь Демы, уверял всех, что «против Демы ни один чорт не устоит».

Дема, не сказав ни слова Феклисту, вышел из чайной, ощутив какую-то особенную радость от пережитого возбуждения, но вместе с этой радостью в сердце снова толкнулась печаль и сознание оброшенности в этой шумной компании.

Толкнув калитку ногой, он снова очутился на своем дворе, не пахнувшем даже навозом, а в сенях сознание полного одиночества нестерпимой болью заставило Дему пошарить по стене, где раньше висела сбруя, — «нет ли веревки-обрывочка».

Веревки не оказалось, и надо было ложиться спать.

Проснулся Дема, когда белый день поднял на ноги всю деревню: хлопали калитки, скрипел оцеп на колодце, громыхала цепь, прикованная к бадье.

Солнце било прямо в глаза и мешало Деме разглядеть хорошенько, что за ночь у него в избе произошла какая-то перемена. Потом уж, спустив ноги с кутника, он заметил — чисто на чисто вымытый пол, хорошо промытые стекла в окнах и стол, покрытый чистой скатертью.

«Когда только поспела?» — Дема про Верку подумал, и что-то светлое, как эти желтые пятна на скобленом полу, поторопило его подняться с своего логова.

Выглянув в окно, Дема припомнил, что сегодня воскресенье. Бабы с нарядными детьми шли по улице в Пискунов прогон, откуда по тропе через озимое поле в село Спас-купалищи. Из осокиных ворот показалась Верка, в розовом платье, с лентой в косе, она не сразу пошла за народом, а сначала поглядела вдоль улицы и, поправляя спустившийся чулок, кивнула головой отцу, высунувшемуся из окна.

«Тоже в церкву собралась», — Дема подумал, а когда Верка, приподняв подол платьица, весело побежала в прогон, ему показалось, что дальше без детей он жить не может и, так или иначе, надо снова семью собирать.

* * *

В «Петров день» Дема повестку получил, в вик вызывают — с попом судиться. Не любит он по судам шататься, а делать нечего — на бумажке расписался — не откажешься. По пути в вик Дема к Даниле зашел. У Данилы кое-какое барахло оставалось, надо будет домой забрать. Если уж опять в деревне обосновываться, так всякий рузок

пригодится. У Панихиных думал только Саньку с Колькой застать, а тут как раз сам Данило дома. Встретил по-старому и ночевать оставил, а все-таки Деме в глаза кинулось, что нет у Данилы прежнего расположения. О чем ни говорит, а главное все утаить старается.

Обидно Деме: он ли Даниле не приятель был?

«Вот, что значит с пахлей сбиться, — Дема про себя подумал. — Нет, надо, как можно скорее за землю взяться...».

На этот счет он и с Данилой советуется:

— Уж больно, понимаешь, бобылем надоело...

Данило сквозь зубы цедит:

— На одном сорвалось, надо на другом попробовать...

Конечно, все только отговорка одна. Если бы тот же Данило захотел по-приятельски совет подать, что, он других слов не нашел бы? Да сколько угодно!

Ладно. Силом не заставишь, а если на то пошло, так и Дема не очень нуждается. Своя копейка в кармане дороже чужого рубля, так и в этом деле.

Чужой ум в карман не положишь, а свой — всегда под рукой, чуть что, сейчас же за него схватишься.

Санька тоже другая. По избе ходит, платок в нахмурку и с отцом не разговаривает.

— Ты бы, Лександра, к Юровым зашла. Колька наказывал, чтобы косу на утренню росу беспременно...

— Поди сам и скажи, а я не пойду...

Данило смолчать хотел, да перед Демой совестно: вот, мол, девка как отцу отвечает.

— Ты у меня не больно, — на Саньку прикрикнул, — Паниха, едрена мать, пра Паниха...

Санька пошла овец загонять, а Данило стал «на робят» жаловаться:

— Все больно умны стали. Старшего над собой не признают. Другой день в луга косить выехали. Кольке одному тяжело, я ему Кирьку в подмогу. А теперь — стань беда не ляг, Санька на Кольку опрокинулась, зачем видишь ли без ее согласья с Тонькой Юровой снюхался. Жениться хочет. Санька ему—правильно: «не торопись,—говорит,— успеешь в дерьме наваляться», а тому нелюбо: «ты бы,— говорит,— и рада повалялась, да никто не возьмет». Санька страсть обиделась. Плакала, ей богу, право!..

Деме Саньку, конечно, жалко. Девка, можно сказать, за мать родительницу, а почета никакого.

— А все нужда наша,— Данило на нужду сваливает.— Не такая Санька, чтобы в вековушках остаться, а что ты сделаешь, лета уходят. Теперь поглядишь, какая-нибудь тварь, ей бы еще в куклы играть, а она на парня виснет: с грехом пополам, а мужа найдет...

Говорили долго. Дема по-своему для Саньки человека не подыщет. Таких людей теперь с огнем не найдешь, только молодежь этого не понимает:

— Ей чик-брик требуется, а того не подумают, что человек для жизни требуется...

Санька скотину загнала, теперь подоить надо. Подойником погремела и опять на двор.

— Видно самому надо,— Данило с лавки встал.— Я сейчас, Юровы через два двора от нас.

Санька коров подоила, а Данило от Юровых не вернулся.

Баюнов боится с Санькой разговор заводить, главное девка не в себе, как бы еще на грех не навести, а все-таки будто про себя потихоньку словцо кинул:

— Нет хуже, если человек себе предела не видит...

— Что это за предел ишо? — Санька из чулана спрашивает.

— Да вот насчет... как это свою жизнь наладить... Колька к примеру, рано больно в обузу лезет...

— Пускай его, — Санька сердится. — Только я для его красавы ломить не стану... Будет, четыре года батрачила, а на кого? Теперь я же по-ихому виновата, «зачем замуж не вышла!..».

— Замуж, оно как сказать?.. Если девка, которая захочет, она всегда человека найдет... Тут, Саня, горевать нечего...

— То-то я разгоревалась больно!

— Я не к тому, чтобы тебе да жениха не сыскать.

Все это пустяки, о чем Дема толкует. Искать женихов Санька не собиралась, с набоем ни к кому не пойдет, а если от домашних обида, так пускай — после спокаются:

— Уйду в город, в кухарки определюсь; однато я проживу.

«В кухарки — это последнее дело, — Баюнов подумал. — Ее бы в хозяйство хорошее: и земля, и скотина, и дом полная чаша, а главное, мужика стоящего». Но какого к Саньке не примеряет, все не то получается и самый бы подходящий — это он сам, Дема. Но у него, как раз ни земли ни скотины, а в избе даже кошки не водится.

— Эх, Саня, Саня, будь бы я на другой линии!..

Что бы тогда было, Саньке спросить не удалось: отец вернулся. Только и успела сказать:

— Линия тоже не поит, не кормит, если сам рукава опустишь...

Утром вместе со скотиной поднялись, Санька на покос торопилась, а Данило на работу к шести часам поспеть. Деме торопиться некуда, а вставать тоже надо: все разойдутся, в чужой избе не останешься.

В повестке к 10 часам сказано, а до вика всего семь верст, можно не торопясь, «с прокладцем» к своему часу поспеть. Так и сделал: идет, идет да сядет. До речки дошел, выкупался. Сел на берегу, одеваться не хочется: рубаху и портки три недели не менял.

— Вот уж домой вернусь, Верка выстирает...

«Верка велика ли птица, а без нее бы вошь съела, — Дема про себя улыбнулся. — Так уж, знать, каждому свое рукомесло.

Утро выдалось как-раз кстати. До солнышка роса овчиной лежала, а как ободняло, жара нестерпимая. На небе, не так чтобы очень синем, белые космы протянулись, а солнышко не застят, все одно как и нет их. Наклонился Дема над омутом, с коряги голову свесил. По желтому дну зеленые бусы вьются, между ними рыбешка стайками. Из-под глиняного берега рак свои клешни выставил, глаза пучит и только усами поводит. За всю свою жизнь Деме никогда не приходилось такими пустяками заниматься, а тут лежит и глаз не отводит. Каждый камешек, каждую былинку разглядел, а рыбешка так и снует, так и снует.

— Эдакая тварь, к примеру, живет себе в свое удовольствие и никого знать не хочет, а наш брат!.. Живи да оглядывайся: здесь не угодил, там не потрафил...

Голубая стрекоза на плавун села, ножками приклеилась и крылышками трепыхает.

«Под водой хорошо и поверх занятно, лежал бы вот здесь и с места не двинулся», — Деме в го-

лову пришло, а вместо этого вскочил как ужаленный: на другом берегу, на отмели не иначе рыбина хворыznулась, по всей реке круги пошли, а мелкота рыбешка, как полоумная, во все стороны кинулась.

— Щука не иначе...

Окунулся еще раз у бережка и одеваться начал: покуда одевался, про свое дело думал: «пролетит или выгорит?»

Не торопясь шел, а явился все-таки рано: ни писаря, ни судьи в канцелярии не было. Возле вика народ дожидался, кто сидя, кто лежа, и все на «нонешние порядки жаловались».

— Лежи вот, а судья чаек попивает...

— А може еще и глаз не продрал...

— Барин, подумаешь... Давно ли с нами в одни лапти обувался...

Всем точно не нравилось, что судья Серега Викторов, зять Василия Никитича, такой же, как и все, вдруг судьей заделался и будет по-своему их дела разбирать. Бывало, тоже судьи были, так ведь те учились сколько лет, а этот, каждому известно, грамотей липовый.

— Об этом что говорить. Приставят подожек и будешь кланяться...

— А кто приставил, спрашивается?

— Кто, кто, известно кто...

Поругали тех, кто таких людей ставит, и стали жаловаться друг другу, «что такой день пропадает».

— У нас теперь пять рублей за росу берут...

Через каждые пять минут посылали в чайную узнавать: «который час?»

Восемь, девять, все еще терпели, а когда часы показали полчаса десятого, терпенье лопнуло:

— Надо послать за ним, что это?..

— Как ты пошлешь? Кабы это свой брат?..

— А то кто же?

— Был да ехал... Теперь он вот спит до обеда, а потом встанет, за чаем просидит час, а то два... Шикни ему на хвост...

Поп с церковным старостой умнее оказались, без четверти десять, а они только подъехали.

Дема за угол ушел, чтобы с попом не столкнуться, а тот, как парочно между мужиками глазами шарит.

— Благодать господня, какое вёдро установилось! — шляпу снял и на небо указывает.

— Что в нем толку-то... Вёдро вёдром, а мы вот сиди, квасся.

Волновался и задирал починковский мужичишко, вызванный свидетелем по кооперативным делам:

— Они там воруют, а я через них день потерял...

Первым пришел секретарь, или писарь «по-старому». Мужики неохотно сняли шапки. Главное, ждать надоело, а когда сам судья пробежал, как ошпаренный, и торопливо сел за судейский стол, мужики целой оравой вломились в канцелярию. Первым делом слушалось «о хулиганстве». Ребята пели срамные припевки о советской власти.

Из целого ряда оглашенных частушек одна признана судьей особенно «клеветнической и заслуживающей наказания...»

Ребята улыбались, мужики тоже смотрели, как на шалость, и судья, приняв во внимание «несознательность обвиняемых и полное несоответствие факта с действительностью» — условно дал им по году заключения в ардоме.

Дема стоял у порога и внимательно слушал вопросы судьи и ответы «нашего брата». Несмотря на то, что судья «из одного с нами теста сляпан», как подсудимые, так и жалобщики, очевидно, робели

и путались в своих показаниях. Судья терпеливо допытывался до сути, не прибегая ни к статьям ни к параграфам кодекса законов, а говорил, как будто на сходке, когда решался важный вопрос.

— Главное, человек на виду, — Дема хотел сказать: «на линии», но воздержался, припомнив последние Санькины слова.

Вот этот Серега Викторов, давно ли вместе с Демой одну лямку тянул, в одной даже роте на германском фронте были, а потом как-то так случилось, Викторов в острог угодил. Говорили, с каким-то вредным народом снюхался, запрещенные книги читал и солдатам бумажки рассовывал. Так и думали, что за такие дела не помилуют, — расстрел, чего же иначе?

Хорошо, еще Дема с ним тогда компанию не водил, а то бы, глядишь, и ему попало, а ведь ближняки: «словно сердце чувствовало». А теперь вот гляди, как дело-то обернулось. Викторов первый человек в волости, живет в свое удовольствие, а главное, каждого человека засудить может. Кокины, пожалуй, не хуже его, а ну-ко, сунься, что значит не дадено.

Про Кокиных он так случайно вспомнил, а то бы и в голову не пришло. Если на правду слово сказать, про Феклиста он ничего худого не скажет: правда, человек «не нам чета», хозяин настоящий, поглядеть только, чего у него в доме нет, ну и с народом тоже не собака. Опять и то подумать, когда насчет заводских полей в деревне грызлись, Дема первый против Кокиных глотку драл, а Феклист ничего, еще робят Баюновых к себе приютить хотел. Или хошь часовню взять — уплатил как следует и вперед уговаривал: «ежели работы... не ищи, Дема, а прямо ко мне... што я не понимаю, ежели человек нуждается...».

А Пискуновы да Осокины тоже на словах только. Вон как взъерепенились, как Дема в деревню вернулся.

Петруха Кокин совсем другого «сословия», о нем Дема и говорить не станет: «сукин сын и обидчик», не что иное. Да не только Дема про него, вся деревня скажет: «пес, а не человек».

Теперь вот все над землей мудрует: лошадь не лошадь, плуг не плуг, все, думает, за него машина работать станет. Нет, брат, покряхти над полосой до седьмого пота, ну что-нибудь увидишь, а то сеялки, веялки и всякая всячина.

Раздумался Дема, не слыхал, как кооперацию судить начали. Вот именно начали, да тут же и кончили, каких-то бумаг нехватает, а без них нет никакой возможности приговор определить.

Починковский свидетель из себя выходит:

— Так и знай, Вихторов, больше на суд я не пойду, у меня вот ноне день пропал, а там ищо канителиться, благодарим покорно!..

Викторов не только чтобы рассердиться, а так, с веселого духа:

— Приедешь, Денисов, приедешь! Дело ваше кровное. В том и беда, что вас в общественность не втянешь. Ты вот говоришь, день потерял, аль роса-то пять рублей стоит, а над тем не подумаешь, что благодаря вашей халатности тысячи мирских денег пропадает...

— Это не от нас, — Денисов оправдывается: — мы не виноваты, что у нас вор на воре...

— Зачем же выбирали таких?

— Чорт их выбирал...

— Как это, вот и протокол уполномоченных...

— Кажному в душу не залезешь. Думали по божьи, на совесть...

После кооперации до попа дело дошло. Здесь разговор короток:

— Баюнов служил при церкви?..

— Служил.

— Нанят вами единолично?

— С разрешения церковного совета.

— Жалованье получал?..

— Церковь сама нуждается... Денег не платили...

Значит больше и говорить нечего: уплатить за пять месяцев по такому-то тарифу, к такому-то сроку, а за то, что поп Баюнова работать на себя заставлял, еще нашлепка. Оштрафовали на сколько-то. А Дему спросили еще: «доволен ли?»

Вот уж, как говорится, «ни сном, ни духом», такого конца не ждал. Думал сначала, что поп его перед судьей с грязью смешает, главное, весь совет на Дему, а тут, изволь радоваться. Прикинул Дема в голове, сколько ему за пять месяцев причитается, своим ушам не верит, а когда попа под какой-то бумажкой расписаться заставили, тут уж и Дема успокоился:

«Вот и житель стану», — про себя подумал, а Сереге Викторову он вот как благодарен: «не иначе по знакомству поддержал». Да нет, что-то незаметно, чтобы узнал Баюнова. Перед этим допытывался, как зовут, откуда, сколько лет и чем теперь занимается.

Так или иначе, а дело сделано: придет срок— «пожалуйте, Дементий Парфеныч, получите, что полагается».

В Мызине ему без дела тошно сделалось. Страдная пора в деревне, каждые свободные руки на вес золота, но как-то Деме не нравилось к своему же брату в батраки итти. Да и к кому, спрашивается? На покос Яков Мысеич всех желающих

отпустил, — значит в каждом дворе свой работник; да и покоса-то не так, чтобы в навал было — сторона лесная, только и травы, что на усадьбе да по речонке кое-какая. Такие люди, как Кокины, эти, конечно, без найма не обойдутся: Петруха у всех бобылок скупил и теперь вчетвером вторую неделю сено убирает, а Феклист не больно зарывался. Земля ему ни к чему, у него постоялый двор кормит. Единственный сын, а как женил, сейчас же на выдел назначил. Миру поклонился, тот Еграше усадьбу выделил, отцов надел ему одному пошел, хошь часть и за Феклистом значится. У Феклиста только и есть, что своя усадьба, да в яровом поджеребейники. Шестьдесят годов человеку, неужто сам будет пердю гнуть, когда у него в чайной може сотня челевек в день перебывает.

Зазвал Баюнова, живо договорились: три рубля в день на всем готовом. Что же, и Дема не стал отказываться: пока еще поповых денег дожидаешься, пять раз с голода подохнешь. У Верки и то неприятность вышла: старуха Осокина упрекнула, что Верка отцу хлеб таскает, а если по-настоящему, всего на всего два раз по куску отцу приносила, и то свою долю, которую ей Осокина на день в столе оставляла.

Верка божиться начала:

— Покарай бог, ни кусочка не давала...

Да разве уверишь, если старухе в голову втемяшилось.

— Бог-то у вас с отцом больно дешев, вот им и тычете...

Помолчала Верка, а у отца так расплакалась, что не знал, чем утешить.

— Погоди, вот деньги получу, всех соберу, до единого...

В одном только сомненье было, удастся ли Петьку найти да и жив ли, мерзавец. На-ко вот, какую штуку удрал. Обругать обругал, а чтобы на мальчишку зло иметь, этого не было — жалко его, особенно если вспомнит, на каких заблудящих он в городе нагляделся. Ходют целыми стаями, грязные, оборванные, на старших, как зверюги какие, так и огрызаются и все матом и все матом.

«Нет уж, лучше бы не жить эдаким...».

А про Петьку вспомнит, опять на попятную: «Что же, може и таким на земле место найдется?..».

* * *

На время покоса Баюнов совсем к Феклисту перебрался, а свою избу на замок запер. Вставал, как и все — до солнышка, только не по одной дороге с миром шел: в общем наделе отцовский пай Егpаша выкашивал, а Дема по кустам да на поле.

Сперва не знали, для кого Баюнов сено косит, а потом уж, когда Дупель обиделся, что Феклист его на работу не зовет, стали насчет Демы проезжаться:

— На чужой полосе косу точит...

— Свою проморгал, на чужой не выедешь...

— Как ни топырсь, а богатей всегда на нашего брата обрать накинет... Того же Дему взять, как это он супротив Кокиных брыкался!

— Пустой человек, и дивить нечего...

Пустой не пустой, в этим деле трудно понять, а что у Феклиста на поводу пошел — это правильно. Да и мудреного нет! Дема как только себя помнить начал, все бедняки возле Кокиных кормились. Теперь вот на Феклиста и то, и другое: и кулак,

и спекулянт, и грабитель. А кого он ограбил? Если у человека шарик варит, да сложа руки сидеть не умеет, вот и нехорош по-нашему.

Все это у Демы в голове, пока он на Феклистовой полосе потеет.

„Мужика от земли надо с кровью отдирать", Деме вспомнилось, — вот уж никогда не поверю. Мужик спит — видит, как бы от земли отделаться, только нужда великая велит возле держаться...».

Всех вспомнил, которые землю бросили. Старики, к примеру, то ли к земле не привержены, а чуть случай выпал, своих же детей на вольную жизнь отпускают. Разве мало таких примеров? Первый Серега Викторов, как только в судьях устроился, землю по-боку и живет-поживает в свое удовольствие. А Яким Будылецкий! Один сын был, он и его в город в ученье натрафил, девка оставалась, так он к ней зятя в свой дом принял. Пожалел родную кровь по своей дорожке пустить. А сынок теперь где-то в совхозе нашим братом командует. У Евлахи-кроеного сын тоже какое-то высокое ученье превозошел, а с тех пор, как последний раз к отцу на побывку приезжал, больше в деревню и глаз не показывает, а ведь поди, уж года два прошло.

Да и все бегут, которым бежать можно. Вот, хошь бы Скосырев. Девку на доктора выучил, такой бы в деревне в самый раз, она красный платочек шлыком и где-то в городе с пионерами няньчится. Видно, никому не по губе в мужицкой шкуре ходить. Убегут вот такие из деревни, а потом целые книжки пишут: «Ах, в деревне темнота да невежество; ах, деревню кулаки заели; ах, деревня колдунам да знахарям верует!». Кому же верить, если образованных людей на целую палестину поп да лавочник?

Все это Дема не сам выдумал, а сама жизнь показала. Правда и то: небольшой он грамотник, а чтобы там книжонку небольшую или газетину прочитать — он это сумеет. Бывало, еще на складе сидит, сидит под навесом, соскучится: «дай-ко, — подумает, — за газетой схожу на станцию». Сперва не признавался, что почитать охота, а будто на курево:

— Нет ли какой завалющей.

Принесет такую и всю-то с начала до конца прочитает. Так и втянулся. Потом уж признался, что «охотник до них», и никогда ему отказа не было. Конечно, не все Дема понимал, о чем в газетах пишут, а все-таки много кое-чего себе на ус намотал, особенно, что до земли касается. Больше всего ему любопытно было, как мужики своим разумом «до людей доходят». Все бьются, все колотятся, а тут, как-то оборотятся, глядишь, стали жители. Один раз в читальне ему книжку дали. Небольшая, листиков в сорок, а прочитал ее Дема — показалось, он года три путешествовал, каких только людей не встретил, и все они на кого-нибудь из своих приятелей похожи; да чего приятелей — самого себя точно на патрете увидал. Правда, это ему не очень полюбилось, главное, мужичишко неправский, а что сходство есть, это правильно. Тоже вот так, что и Деме, тому ни в чем не повезло, за что ни схватится, все из рук плывет, и неизвестно чем бы кончилось, если бы тот за разум не взялся и всю свою жизнь заново не перекочкал.

В книжке вся эта музыка больно просто делается, а если вот ему, Деме, так попытаться, глядишь, и не выйдет. Первым долгом — не к чему руки приложить. Чего ты ни хватись, либо нет, либо у людей на подержаньи, а попробуй снова завести, кишек нехватает.

После обеда тучка откуда-то набежала, небольшой дождичек спрыснул, другие сено сушили и сгребать в копны не стали:

«Пустяк, мол, сейчас опять разведрится...».

А оно как на смех, то в тучку, то в облачко так и ныряет, а потом и совсем спряталось, все небо как мокрый хлопок сделалось. Дождя нет, а того и гляди опять хлынет.

— Сходи в Тунаву, — Феклист советует: — там больно трава сухая, спиби остаточки, а если и полежит, так не больно жалко, зимой на подстилку пойдет...

Деме что же — не свое добро, жалеть нечего: велит, так его дело. Полежал в сарае полчасика и пошел в Тунаву докашивать. Трава здесь, правда, не очень съедобная, а при нужде коровы вот бы как съели, только у Феклиста нужды этой нет. У него коровам чистое сено дают, а чуть похуже, так еще мукой посыпают. Ну и коровы зато! Одним молоком залили. А теляты? Каждый подтелок больше «нашей» коровы.

Жеребья на Тунаве длинные: от самого леса вплоть до реки словно напиться воды спустились.

В нынешнем году, что-то пустырей много. Все поле, как кнутом исхлыстано, а ближе к лесу «Иван да Марья» голубым кушаком протянулись.

Дема как раз к лесу лицом шел и все будто в горку поднимался, покуда в опушку не уперся. Вот здесь он и цветы заметил. Другой раз и не такие попадались, да некогда любоваться ими, а тут вот такие неказистые, а загляделся. Уж очень хорошо листочки прилажены: все голубой, все голубой, а тут желтенький в прокладочку:

«Уродится же такой, — Дема подивился: — на одном корешке, а цветы разные».

Целую горсть захватил и мокрую косу вытер.

Лес без солнца темнее кажется, одна осинка на минуте пять раз переменится: то густо-зеленая, точно лаком покрыта, то побелеет вся и серебром отливать начнет, если ветерок листочки опрокинет. Кое-где полянка проглянет: светло и зелено.

В такой день и работа не в тягость: ходит Дема гуляючи, коса исправная, догляда нет, покосит-покосит и отдохнуть присядет. Последний прокос пустырем шел и нарочно так выгадал, чтобы на этом день закончить.

Прямо перед ним деревня, поправее речка, а на том берегу, тоже по взгорью, еще с пяток деревень: Трухачево, Исаково, Аннино, Рамешки. Во всех он бывал и почти весь народ знает. В той стороне, где завод, над лесом черный столб дыма стоит:

«А все, говорят, заводские бастуют, врут больше», — и нет-нет да опять в ту сторону поглядит. Завод для него не больно интересен с тех пор, как со склада уволили, а вот Починки, что не доходя до него верст с восемь — эти он никак из головы не выкинет. Главное, там Санька живет, а на Саньку у него все упование: «С таким человеком еще можно, пожалуй, на ноги встать, а не добьюсь, кончено, котовать не минуешь...»

Вспомнил, что у Панихиных в семье грех идет, не нынче-завтра Колька молодую в дом приведет; Санькино дело значит — «сматывай лески», с снохой ей нипочем не ужиться. Данило, что там ни говори, дескать: «покуда я хозяин в дому», нет, брат, теперь стариками помахивают. Теперь вот Колька своебышничает, а там, глядишь, Кирька свою волю покажет. Нет, Данило, видимо был хозяин, да съехал!

Теперь вот само правительство взять—кажется вся власть в руках, а чуть что, сейчас и за усы: «это зачем? а это почему?». Да кто еще, свой же брат, такой же рабочий или мужик к примеру. Вот тебе и правительство!

Дема никогда не забудет, как раз на волостном собрании одного такого начальника встретили. Приехал в какой-то праздник, возле Казанской, кажется, и начал мужиков подбивать, чтобы приговор составили насчет передела земли. Мужики, конечно, слушают, раз человек нарочно из города приехал, только никак в голову не возьмут, зачем это там передел понадобился. Сами они никого не просили, никому не кучились, а тут передел да и все. Говорил он много и все по-хорошему, и только когда кончил мужики тоже заговорили: «Все, мол, это действительно, как ты ни бейсь, а передела не минуешь, только в этом году мы землю корежить не станем». Тоже дельно говорили и свои резоны выставили, а тому знать невтерпеж, что мужики уперлись, начал на них покрикивать: «вы, дескать, сами своей пользы не видите и темны-то вы и неграмотны». Мужикам тоже не полюбилось, огрызаться начали:

— Коли мы темны да дураки по-твоему, на кой хер к нам и таскаетесь?— Это по простоте Тихон Ребров бякнул.

Мужики подхватили:

— Правильно!.. Мы к вам не ходим свои порядки уставлять.

— Вы там у себя хошь на головах ходите...

Ведь вот из-за какого пустяка все дело вышло. В другое время и толковать бы не стали. Мало ли ихово брата за год в деревне побывает, поговорит, поговорит да с тем и уедет, а мужики все на своем месте, как жили, так и живут. А тут

точно прорвало: тот ерепенится, с пистолетом к рылу лезет, а мужики того гляди, как бы сами взашеи не надавали. Так и уехал ни с чем. Думали на этом кончится, нет, брат, шалишь, видно не на такого напали. На другой день из вик начмилиции:

— Что такое, бунт веди, вашу мать!

Мужики и туда и сюда, дескать: «мы ему вредного слова не сказали». Куда там:

— Полдеревни арестую, так вашу мать...

Хотели мужики и этого из деревни выпроводить, да не дурак достался — за овинами еще четверо милицейских спрятались. Свистнул, начмилиции как из земли выросли.

— Взять этих,—на Тихона и Петрова показывает. Те, конечно, видят—не сила и спорить не стали. Увели их, а мужики не расходятся: «за что, за какую провинность?». И тут же постановили в город нарочного спосылать, чтобы на того и другого управы сыскать. Послали Осокина, мужик неглупый, в городе сразу нашел, кого следует, и тут же бумажку получил, чтобы арестованных мигом освободили.

Освободить освободили, а на этом не кончилось. На каком-то собрании дело опять выплыло. Теперь уж партейные сами подняли. Из волости двоих делегатов на собранье потребовали, они там и раскачали.

Серега Раменской мужичишко горячий, и ежели в чем фальшу приметит, он тебе на ножик полезет и не перед каким чортом не умолчит. Он и на собраньи начал:

— Вы,—говорит,—здесь разные смычки рассусоливаете: рабоче-крестьянская власть, как же! Крестьяне, мол, должны по-руку... Сам Владимир Ильич наказывал, а в деревню глаза покажете, с становым не узнаешь...

Председатель было его осадить захотел:

— Какой волости, — спрашивает, а Серега еще пуще расходится:

— Я,—говорит, — не самозванец какой, а такой же, как ты, товарищ председатель, член партии, — и из кармана книжечку вынул, показывает — да! Меня этим не застращаешь, что «чей да откуда», мы не спрячемся...

Взял да все бумажки, какие в вике по этому делу имелись, перед всем собраньем и выложил. На его сторону и другие встали:

— Расследовать...

— Избрать комиссию...

И так-то ли тому приятелю хвост наломали, что до новых веников не забудет, а начмилиции мало что уволили — под арест постановили.

— Вот тебе и власть,—Дема вслух проговорил:— а какой-нибудь Петька Кокин тебя в острог запятит и никакого ответа не будет. Нет, уж лучше не думать. Прошло и слава богу...

Да разве это утешение? Неужто товарищ Потапов правду говорил, что «Дему всякий обратает, кому не лень только».

Чего Потапов, это хошь человек, — в остроге шпана и та его за настоящего не считала: «У такого не взять, сам господь осудит», — это «Свиной глазок» сказал.

Раздумался и коса из рук вывалилась.

Да что это в самом деле, неужто Дема себя в руки не возьмет? Неужто белый свет клином сошелся, что здоровому мужику в живую могилу зарываться?

— Кляпа не хочешь ли? — Дема кому-то в поле через речку кинул, а Феклистовой косой так о придорожный камень треснул, что окосье в двух местах точно грифель перелетело.

* *
*

За ужином Дема расчет потребовал:

— Будет, дурака повалял...

У Феклиста на Дему свои расчеты были. Мужик работящий, совестливый, такого ни понукать ни дела показывать — сам видит. Если бы удалось до осени затянуть, а там бы он его в зиму порядил в чайную. Егpаша наотрез отказался гостям прислуживать, Тошку брат хочет в город в ученье отправить, а им со старухой не справиться, да и не к летам такое дело.

— Что тебе вздумалось, — на Дему красные белки выкатил. — С нашей стороны обиды не было...

У Демы рот занят, кашу прожевывает, только глазом понять дает: «после, мол, скажу по какой-такой причине». А Феклист не дожидается и опять за свое:

— С народом ты заелся, не только своя деревня, весь приход тобой недоволен... Куда ты пойдешь? А народ у нас, сам знаешь, подыхай, как говорится, никто корки хлеба не кинет...

У Демы, покуда рот был занят, он совсем другое хотел сказать, а когда Феклист про народ заговорил, его за живое задело:

— С народом мне не робят крестить... Не больно испугался... Завтра же назад землю стребую и детей возьму...

— Горячиться не надо,—Феклист уговаривает, — сначала подумай, Дементий... Легко сказать «детей возьму». Что ты с ними делать станешь?.. Эта не стара пора...

— Все едино по-моему, — Дема не сдается. — Стара пора тоже поваля не кормила...

— Дело твое, конешно, тебе виднее. Которые с большевиками, им тоже не худо живется... У тебя рука...

— Где, которая?..

— Ну, как это, кто про это не знает, чай, не за пусто место на попов опрокинулся... Церкву тоже .. Что ни говори — святыня, а ты вот проверг...

— Надо бы... Они там мошенничают, а ты глазами хлопай...

— Они и перед богом ответчики, — Феклистова жена вступилась. — Так уж говори, тебя нечистый осетовал... Грех, Парфеныч, смотри, не попустит господь...

С бабой надо и говорить по-бабьему, а Дема к этому не привык. С Варюхой бывал и разговор весь: «собирай обедать», или «истопи баню», а спросит она — «да» да «нет». Феклисту он опять напомнил, что завтра на работу не выйдет, а что полагается за неделю:

— Что нынче, что завтра — платить надо...

Феклист не спорит.

О чем тут говорить. Заработал, не украл, тут дело полюбовное. Силком не заставляли... ежели нужда прикачнулась...

Подсчитали сообща, здесь обмана не выйдет. Учли все до копеечки, вычесть пришлось, что Дема в лавочке забрал: ребятам на рубашки, Верке на фартук и все-таки рублей десять деньгами дополучить пришлось.

Вернулся Дема, когда на улице совсем стемнело. Огня не зажигал, да и зажигать нечего. Была раньше лампа, а теперь что-то нигде не видно: либо дети разбили либо унес кто. И то сказать — не узоры вышивать, а уснуть и без огня можно. Только вот пока не заснешь, в голову разны мысли

лезут: «В город побывать, обязательно... С Пуговкиным повидаться, к Корочкину толкнуться... Народ нужный... И Петька тоже... где скитается?..»

Прошлый раз Дема весь город обегал, чтобы своего заблудящего отыскать. Где только не был, кого только не спрашивал, нет и нет, как скрозь землю провалился. В одном трактире сказали, что зимой «был такой, правильно, Петькой зовут и с белым рубчиком на губе», — как Дема рассказывал — только вот уж с тех пор не показывается: либо в тюрьме, либо где-нибудь своя же шпана ухлопала:

— А раньше забегал, говорить нечего. Другой раз поработать просился, ну там дров поколоть, али на дворе почистить...

Про Петьку вздумал, сон как рукой сняло. И так и эдак повернется, а все не спится. Только уж на свету забываться начал, да и то на какой-нибудь час или два.

Проснулся ранехонько и сейчас же в город собираться стал.

— Неделю проживу, а без Петьки домой не вернусь...

В городе не в деревне, сорок улиц, на каждой улице домов не пересчитаешь, нужного человека, как иголку искать. Пуговкин посоветовал в уголовный розыск сходить:

— Ежели со шпаной валтузится, там все известно...

В уголовном розыске о Петьке знают: кличка «Рубчик». В дело не попадал, а живет неизвестно где. По приметам и здесь не ошибся — Петька, иначе быть не может.

Целыми днями на площадях да рынках трется, сколько всякого ворья нагляделся, а своего нет

и нет. Все трактиры, все ночлежки обегал, а никакого толку не добился. И вот всегда так, это уж Дема на себе изверился, другой раз чего-нибудь добиться хочешь, день и ночь думаешь, изо всех кишек лезешь, а дело все не выгорает. Рассердишься, рукой махнешь — пропадай ты пропадом и даже забывать станешь, а оно как на смех возьмет и выплывет. Так и на этот раз. Совсем было домой собрался, главное в городе расход большой: то чайку попить, то поесть купит, а денежки тают. Дома бы он целую неделю прожил на то, что здесь за три дня израсходовал.

Собирался с вечера к Корочкину сходить, а утром на постоялом растолковали, что «какой-то праздник большевицкой и учреждения не работают». — Делать нечего, пошел опять по городу. В соборе к обедне благовестили реденько, народ собирается, от нечего делать и Дема туда же пошел. В соборе как раз какого-то архиерея посреди церкви в ризы облачали. Кругом его дьякона суетятся: один на блюде облачение подает, другой с гребнем дожидается, третий воду на тарелочке держит. Архиерей только поворачивается да кресты кладет, а глазами все на потолок вскидывает. Два каких-то архангела по бокам у него со свечками, оба молоденькие и с лица приглядные, словно два брата родные: у обоих волосы, как лен, и глаза синие.

«Ишь ты как ублажают», — Дема подумал, когда архиерею полотенце подали, чтобы тот руки вытер.

«Десять человек вокруг одного — вот делать-то нечего» ... Служба началась, как только архиерея оборудовали. Покуда он на мягкой подушке сидел, все читали больше, а когда запели, и он поднялся. Человек справный, на брюхе пояс широкий так и врезался. Вставать стал, пухлыми руками в обе

коленки уперся, а архангелы тут как тут и наибольшего под ручки ухватили. Не успел он с места сдвинуться, какой-то парнишко, в Петькину пору, из-за попов вынырнул и ластовку с птицей у того из-под ног выхватил, а потом впереди всех пошел и в церковных вратах ее снова бросил.

Идет такой маленький, в парчевом капотике, на золотых пуговочках, из-под него только голубой вороток рубашки видно.

«С каких лет приучается, — Дема про парнишку подумал: — поди, родители натрафляют...».

На этого он помилостивее поглядел, чем на тех белобрысых, которым бы в пору за девками бегать, а они тут возле старика околачиваются — «да чай и бегают, это только здесь святыми прикидываются».

Архиерея аккурат к алтарю подвели, а он опять к народу оборотился и свечами в руках перед носом помотал. Мальчишко ему, как и все чуть не до земли поклонился и опять приснащается, как бы у того из-под ног свою ластовку выдернуть, а когда поднял да выпрямился, Дема глазам не верит:

«Петька, да и все!..».

Поближе к амвону протолкался, а сам все думает:

«Да, может ли быть? Такой хольный, такой чистенький?..».

Чуть не вплоть подошел, а глазам верить не хочет, и только уж когда на верхней губе беленький рубчик отличил, тут уж никак нельзя:

«Мой, самый...».

Отошел к сторонке, за колонну спрятался, стал дожидаться, когда служба кончится. И служба ему с год показалась, хотелось больно поскорее

своего мальчишку расспросить, каким это манером он в духовенство засыпался.

Архиерей последний раз вышел, народ начал к его руке прикладываться и вон выходить, последним и Дема вышел. Стоит у ограды, думает: «А я его по острогам со шпаной искал, вон он куда затесался». Архиерея стали в пролетку подсаживать. Один белокурый с ним бочком жмется. Другого какой-то монах на свою позвал. А тут, откуда ни возьмись, Петька с белым узелочком и тоже к извозчику на козлы таращится.

— Эй ты, святая душа! — Дема его за рукав дернул,—погоди маненько...

Петька опешил, словно язык проглотил: на отца взглянет, а потом на толстого монаха посмотрит.

— Слезай давай,—Дема его с колеса снял, прямо перед собой поставил и налюбоваться не может: — «нет, кто подумает, что они такого с Варюхой добыли?..». Голова под машинку острижена, глазенки светлые, под слезой, словно искорки, на белой шейке голубые жилы выступили.

— О чем ты, глупый, пра, глупый, — Дема утешает, а у самого на сердце тоже несладко, не будь этих двоих, возможно, и сам бы заплакал.

— Я тебя не браню! Что ты?

А чтобы монах с белобрысым глаза не пучили, Дема им на парнишку показал:

— Мой это!.. Ищу целую неделю, с ног сбился...

Белобрысый смеется, а монаха так и передернуло.

— Кто удостоверит?.

— Спроси его, если надо ..

Что бы там ни было, а Петька не скрыл: — «папаня» говорит и отцу за шершавую руку ухватился.

— Ну, как же теперь? — Дема его по голове гладит: — надо домой итти?

— Я не знаю, — тот опять закуксился.

— Ты, гражданин, вот что, иди-ко с ним в монастырь, а там посоветуемся, — монах вступился.

Дема согласен. — «Петька не щенок какой, это того, кто на веревку возьмет, тот и хозяин». — Не пошли по улице, а каким-то валом да огородами и прямо у монастырских ворот остановились. По дороге Петька отцу рассказал, как он в городе со шпаной связался и как ему от них отстать удалось. Не скрыл, что побираться приходилось, а один раз у торговки связку воблы слямзил. А как он в монастыре очутился:

— Отец Серафим говорит, господь сжалился...

«Отец Серафим» это, с которым он ехать собирался, а попал он к нему совершенно случайно. У Петьки товарищ нашелся, который на трамвае жалобные песенки распевал, а Петька тут же слепого водил. Здесь они подружились, здесь же Петька у него все песни перенял и своего слепого бросил: одному ему больше подавали. Отец Серафим раз услыхал и Петьку за голос у себя певчим устроил, а потом в свою келью взял. Вот и все. Жить ему хорошо, а если бы «мамка была жива, он бы лучше домой вернулся».

— Ну, Петяк, вот и кончили, — Дема от Серафима вышел, — хорошо, так живи с богом...

Петьке почему-то обидно сделалось, что отец от него отступился. А Серафим в дверях стоит и отцу сулит Петьку во вторую ступень подготовить:

— Мальчик смышленый, ласковый, у меня за родного...

— Я не останусь, — Петька всхлипнул, — возьми домой, папаня...

— Вот тебе и раз, а я думал, — Дема совсем растерялся, — что ты, родимый, разве я что, ну, хочешь — домой пойдем...

Серафиму очень не полюбилось:

— Как же так? Я на него тратился... Костюм, белье, сапоги новые...

— Возьми их! — Петька рассердился и начал было сапоги разувать.

Старшие переглянулись и опять в кабинет, а когда отец вернулся да велел снова Петьке обуться, тот сраз понял, что у Серафима не выгорело и сапоги снова Петькины будут.

— В деревню, так в деревню, — Дема приговаривает. — Как-нибудь жить надо...

В чайной Петька отцу признался, что ему и в деревню не хочется.

— Пискуниха опять будет мычалками в голову тыкать...

— А ты слушайся, — Дема не потакает, — наша нужда, тут уж, брат, не взыскивай...

А когда из чайной шли, Дема, чтобы мальчишку подбодрить, не велел голову вешать:

— Вот как дело с попом обернется, а то опять всех к себе заберу...

Петька тоже.

— Кабы лошадь, да опять свою землю отобрать...

— Поглядим, може и лошадь будет...

V

За последнее лето на мосту работа двинулась. В губкоме какой-то новый человек появился и всю губернию на дыбки поднял.

Раньше мызинские шаля-валя работали, только, чтобы день прошел, а теперь тот же Яков Мысеич

подхлестывает. Бывало, когда кому вздумается работу кинуть, никакого препятствия, а теперь, извини пожалуйста: отчего, да почему. Много не наговоришь, а то и расчет в зубы.

Данило первый нарвался. Пошабашили вечером, поужинали. Кое-кто спать собирается, а молодежь— купаться. Кирька тоже с ними. Отец ему: — «Ты не долго, вот в контору схожу да домой пойдем».

Кирька в два счета, окунулся разок-другой и обратно. Минут через пять и Данило вернулся:

— Не пущает и денег не дает...

— Как это? — артель не верит, — ежели дело такое...

— Да так вот; говорит: «воскресенье придет». Говорю: товарищ Колесников, никак невозможно, гости съедутся, главное, настряпано, беречь нельзя, пролежит день-другой, изгадится. Ломался, ломался, а все-таки отпустил. Говорит: «дураки, кто в рабочу пору свадьбы затевает». Что ты, мол, сделаешь, ежели народ молодой с нашим братом не советуется: «жёнюсь», да и все. Саньке страсть как не полюбилось, главное молод и невеста не так, чтобы очень...

— Даровая работница в дом, — артель утешает.

— Какая у нас работа? Давно ли на землю сели? Теперь вот, как молодая в дом, Саньке надо из дома. Двум возле печи делать нечего...

— Уж это везде так, — мужики соглашаются и начали про «нонешную» молодежь говорить, «как она от рук отбилась».

Данило с Киркой в ночь пошли. Место свое, бояться некого, все пути-дорожки знакомы. Дорогой Данило на Кольку пенял, что вот, мол, его, старика не слушает:

— Отец у него не такой, чтобы своему детищу худа хотел. Опять и то подумать, на какое сокровище польстился... Диви бы девка завидная...

Кирька отцу не перечил и брата не осуждал: «старикам никогда не угодишь». Саньку, правда, жалко, ежели она взаправду в люди пойдет, только ни к чему это, живи, как жила; чай, не Колька хозяин. Об этом он и отцу сказал:

— Уйдет, дура будет...

— Чево ты понимаешь? — отец и на Кирьку рассердился. — Одного греха не оберимо. Юровы, они все с духом, а наша Паниха сама спуску не даст, ну и пойдет...

Домой пришли, вторые петухи пропели. Санька было стала самоваром греметь, да где уж, Данилу сон сморил, не знает, как до постели дорваться. Легли, молока похлебавши.

Колька с сестрой не разговаривал, зато с отцом был особенно ласков и со всем соглашался, что бы тот ни посоветовал.

Когда все три мужика стали на сеновале укладываться, о завтрашнем дне заговорили: когда на девишник к Юровым собираться и кого из родни надо на свадьбу звать.

— Баушку Лизавету, Санькину хресну, эту не позвать никак нельзя. Дему Баюнова обязательно, може еще придется за ним на лошади гнать. Ты, Киряк, завтра с утра валяй!..

Данило сыновьям внушает, что таких людей и уважить не грех:

— Только заикнулся — плохо, мол, Парфеныч, свадьбу затеяли, а денег нет. «Возьми, говорит, четвертной, осенью отдашь». И как это к разу у него деньги подоспели. Попа, говорят, вот как приперли, вынь да положь... Целую сотню стребо-

вали... Теперь вот корову купил, нам четвертной,— много ли осталось, пустяки какие.

Колька уверяет, что со всем справятся:

Осенью одной картошки мер двести продадут, овса, сена воза два вывезут. Дема в обиде не останется...

Санька еще долго после их в избе возилась — мыла, прибирала, а когда на скамью свалилась, ей и думать некогда, одно в голове.

«Може останны деньки у себя похозяйничать...».

Свадьба «без венца», а по-старому, как отцы и деды: невеста «выла», жених платил выкуп, дружко говорил побасенки, от которых невестины подруги делали вид, что сердятся на озорника, но унимать краснобая никто не собирался:

— Так уж полагается, — старики улыбались, об этом и дети знали.

Саньке было не по себе с самого утра. Покуда брат с невестой ездили «расписываться», она кормила обедом гостей, разбирала клеть, в которой свахи сложили невестин сундук и готовили постелю.

Дема с утра толкался в избе и мешал Саньке развернуться по-настоящему. Подвыпивший спозаранка Данило, не дожидаясь молодых из вика, требовал угощенья гостям, съехавшимся из разных мест, у нее же все было рассчитано, с чего начать и чем кончить. Взятого вина по ее расчетам должно было хватить на оба дня, но, по отцовой неаккуратности, дай бог один вечер отправить.

Жениха с невестой свахи встречали в овчинных полушубках, вывернутых мехом наизнанку, хресна Лизавета ухитрилась под фартуком вынести к воротам хлеб-соль и бросила горсти две хмелю, засорив молодым глаза.

Санька не показывалась при всей этой церемонии, и когда молодых усадили в передний угол, ее потребовали поздравить молодых.

Покуда Санька спорила со свахами о том, что ей некогда наряжаться и пойдет поздравлять молодых в том, в чем есть — в стареньком платье и с засканными рукавами, — гости кричали от стола:

— Пожалуйте, Лександра Данилловна!..

Подвыпивший отец поторапливал дочь, ссылаясь на то, что «все дожидаются».

Колькой овладело снова привычное недовольство сестрой, и Санькино промедление он приписывал нелюбовью сестры к своей молодой жене.

Наконец, Саньку вытолкнули из чулана и направили прямо к столу. Кирька с повеселевшими глазами подал ей большую рюмку с подкрашенным вином, молодые взяли тоже такие, и Санька почувствовала, что ей на-время надо взять себя в руки и не показывать гневного лица, а, кроме того, ей надо сейчас что-то сказать, а потом уж чокнуться с молодыми.

Утерев потное лицо вывернутой кистью руки, она весело поглядела Кольке в лицо, отчего тот тоже просиял, и поспешно встал с лавки, потянув за рукав Тоню.

— С законным браком! — выдавила Санька ненужные слова, так как по ее мнению и по мнению большинства съехавшейся родни Колькина самокрутка не является законным браком.

Торопливо хлебнув противной водки, Санька хотела поставить свою рюмку на стол, но это послужило сигналом к тому, что водка, очевидно, настолько горька и пить ее нет возможности.

— Горько! — первым подсказал Дема. Об этом же кричали гости. И покуда Колька целовался

с молодой и ласково поглядывал на Саньку, как бы спрашивая: «сладко ли?», гости по очереди пробовали из Санькиной рюмки и в один голос уверяли: «полынь, а не водка». И даже, когда сама Санька заявила, что «теперь сладко», гости все еще не доверяли и потребовали от нее выпить это сладкое вино «до донышка».

Пришлось подчиниться, чтобы только поскорее отделаться и, закашлявшись с непривычки, она зажала рот платком:

— Вот это так! Вот это правильно!..

Колька с благодарностью потянулся к сестре, и Санька поцеловала их обоих. Прижавшись на миг к груди брата, она снова почувствовала родную кровь, что Колька все тот же, что и был, такой же близкий, несмотря на разлад последнего времени. В груди у нее шевельнулось какое-то ей непонятное чувство умиления, и совсем не горькой обиды.

Обнимая Тоню, у Саньки брызнули слезы и, не сдерживаясь больше, всхлипывая, она убежала в чулан. Колька растерянно смотрел ей вслед, готовый сам заплакать.

Гости присмирели и не знали, как быть: слезы на свадьбе это такое редкое явление, что положительно сбили всех с толку.

Свахи в смущении затормошились вокруг стола, без особой нужды перекладывая и переставляя тарелки с одного места на другое. Наконец, свадебное настроение одержало верх и по избе снова понеслись полупьяные речи и специальные шуточки.

Дема степенно сидел по правую руку жениха и, моргая несколько осовевшими глазами, оправдывал Санькино поведение:

— Все одно, что мать-родительница... Остались мал-мала меньше, а она, гляди, всех в люди произвела...

Никто с Демой не спорил. Конечно, ежели кто понимает, такой сестры еще на целом свете непревидано, через это, може, и в девках осталась.

«В девках осталась» это не природное: нынче девка, а завтра подходящий человек подвернулся, вот и баба будет. Дело не в этом:

— Двадцать три года не старок какой, — Дема за Саньку вступился. — Главное такой девке по себе дерево надо рубить... А у нас, что это за женихи?... Мальчишки, которым бы в пору без порток бегать...

Дружко Вьюнов с Демой совсем не согласен. Молодежь теперь, пожалуй, дальше старика видит.

— К делу, это правильно, они за людьми люди, а ежели к примеру по женскому естеству, они, брат, нам с тобой очков двадцать дадут...

— Так ли, Киряк? — Вьюнов Кирьку за штанину ухватил.

— А ты полно, — Кирька застыдился и начал пустые рюмки доливать.

Покуда гости ели и пили вперемежку с песнями и плясками, Санька зорко наблюдала за столами, чтобы у всех было вдосталь праздничного угощения, заметила, что отец, угощаясь со сватом Юровым, не столько пьет, сколько по столу разливает. Подойти к нему неловко, а сам он не догадается. Она отозвала Дему и шепнула на ухо:

— Скажи Кирьке, чтобы не очень накачивал... вина не больше четверти осталось...

Дема, польщенный Санкиным вниманием, сделал приятное лицо, и положив ей на плечо руку, ласково говорил:

— А ты полно... Есть о чем говорить!.. Нехватит, вот они, — Дема по карману хлопнул,— возьмем да еще пошлем...

А все-таки к Даниле подошел и подальше отставил бутылку: «долго ли опрокинуть».

Данило свата Юрова по коленке хлопнул:

— Как он меня выручил, — на Дему показывает. — На, говорит, отдашь, когда справишься...

Сват увесисто, как в просонках, удивлялся бескорыстию Демы и с своей стороны подтверждал:

— Хорошие люди... Они везде есть...

А свахи пели плясовую:

Посею лебеду на берегу...

И плавно колыхая раздутыми животами, топтались на одном месте, смахивая с лица потоки пота:

Свою крупную рассадушку...
Свою крупную зеленую...

Лениво переступая с ноги на ногу, свахи игриво помахивали платочками перед глазами молодых сватьев, задорно тряся отвисшими грудями:

Погорела лебеда без дождя,
Погорела лебеда без дождя,
Моя крупная рассадушка...

И, несмотря на постигшее несчастье, свахи еще веселее затопали тяжелыми башмаками, раскачиваясь из стороны в сторону. Недостаток места значительно стеснял потребность «разойтись вовсю», и вынужденные толкаться на одном месте свахи пополняли этот ущерб усиленными телодвижениями и визгливыми выкриками:

Кабы мне младой ворона коня,
Кабы мне младой ворона коня,
Я бы вольная казачка была...
Я бы вольная молоденькая...
Скакала бы, плясала по лугам,
По зеленым дубравушкам...

И, желая в лицах изобразить, как бы каждая из них вела себя на месте этой «вольной казачки»,

они хватали ближайших мужчин и кружили вокруг себя с припевом:

С Донским с молодым казаком,
С Донским с молодым казаком,
Со удалым добрым молодцом...

Случайно проходившего Дему ухватила за пояс молодая вдова и, откинув ухарски назад голову, напирала на него животом, плотно обтянутым шерстяной юбкой. Дема упирался и не хотел с ней кружиться в этом тесном круге, но она так выразительно заглядывала ему в глаза, точно обещая больше, чем только веселая скачка по лугам и «зеленым» дубравушкам.

Дема не выдержал: топнул, свистнул, дернул вдову за потную руку и, припав на одно колено, вихрем закружил ее вокруг себя, потом снова вскочил и пошел перед своей парой вприсядку.

Все гости вышли из-за столов и так или иначе приняли участие в повальной пляске.

Дема ухарски притопывал каблуками, а сватья-вдова, блаженно улыбаясь и не желая отстать от Демы, в каком-то особенно приятном опьянении вскрикивала:

Их! их! их! их!..

— Дай места!..

— Шире круг! — начали покрикивать со стороны, и свахи покорно отступили, не переставая петь и прихлопывать в ладоши.

Санька выглянула из чулана и, привстав на цыпочки, заглянула в круг. Дема тряс белокурыми волосами, держась поодаль от вдовы, а ноги как будто сами по себе выколачивали дробь и держали лад с веселой песней.

— Саня, выходи! — Дема радостно вскинул на Саньку глаза и, оттолкнув вдову, ввел Саньку в середину круга.

Сгорая от стыда, Санька напрасно искала выхода из этой толчеи, но Дема уж овладел ее рукой и тащил за собой, кружась волчком по тесному кругу, а Санька, вырываясь и притворно сердясь, вынуждена была поспевать за ошалелым мужиком и в то же время, подчиняясь песне, ноги невольно держали песенный лад...

Всем показалось, что Санька действительно пляшет и, после только что пролитых ею слез, это показалось особенно хорошо и заразительно.

— Ай, Саня, ай, Даниловна!..

— Чем не пара, вот и жених! — кто-то восторженно сделал замечание, и эти случайные слова, долетевшие до Демы, показались ему ответом на все мучившие его вопросы и наградой «за мутную» жизнь последнего времени.

— Будет, — сказал Дема и, резко оборвав пляску, поставил Саньку возле стола, за которым молодые по положению сидели, не вставая...

Неугомонные свахи запели новую песню, с более медленным ритмом, но все так же позволявшим, как и первая, делать вид, что весселье продолжается, и топать не сходя с места:

Пошли девки в дол купаться,
Пошли девки в дол купаться...
Барыня ты моя,
Сударыня ты моя,
В дол купаться...

Утомленные старики стали поговаривать, что «молодым пора на спокой», что «Миколаю Данилычу еще работа предстоит» и, подпуская более чем не скромные шуточки, выпроводили молодых «на подклеть».

Опомнившиеся свахи, обратив внимание, что за столом нет ни «князя» ни «княгини», тоже начали собираться, и скоро в Панихиной избе остались только свои, разбираясь, где кому лечь.

* *
*

В Мызине, как только картошку выкопали, стали к празднику готовиться. «Вздвиженье» весь приход праздновал, у Спас-купалища базар собирался. В первый день весь приход на селе толкался, особенно молодежь. До революции здесь целую неделю торговля была, как в городе. Навезут всякой всячины, только успевай раскошеливаться, а война да голодные годы всему предел положили. Теперь приедет пять-шесть палаток, станут вокруг церковной ограды и ждут, когда-когда покупатель навернется, а навернется такой, поглядит, поглядит, видит— купить нечего, да с тем и отойдет.

Феклист бывало к этому дню возов пять вывезет: с мукой, с крупой, с бакалеей, с красным товаром, а теперь разложил на прилавок прянички да орешки, колбасы с полпуда, вот и весь базар. Правда, помимо Феклиста есть торговые, да и у тех не гуще. Кооператоры специальные ларьки сколотили, а заглянешь к ним, тоже не найдешь, чего требуется. Есть и духи, и пудра, и зеркала, и ситец, и полушалки всякие, зато и цена—мое почтение, лучше два дня потерять, да в город сходить, там по крайней мере выберешь, что надо, и купишь дешевле.

Один какой-то забавник из города «счастье» привез. За гривенник билеты продает, счастливец «любую вещь» получает, а вот девки, сколько ни таскали билетиков, ни одного «с вещью» не вытянули.

— Обман один,—только и скажут, когда последний гривенник из носового платка вывернут.

— Всякому свое счастье... Обмана здесь нет... вот он!..

Выхватит из пачуги длинный билетик и каждый сам прочитает: «любая вещь».

— Значит обмана нет, действительно, только угадать надо.

Дема по всему базару прошел, в каждый ларек заглянул — проволочных гвоздей искал, ни в одном не оказалось, а гвозди ему дозарезу нужны, за один год какой-нибудь у него изба по всем швам расползлась: крыша течет, труба размокла, налишники — и те свалились.

— Не минуешь в город итти...

Остановился возле «счастья», уж больно народ огрудил:

— А гвозди у тебя есть? — хозяина спрашивает.

— Гребешки, расчески, ленты, печенье, духи, все, что надо...

— Кабы гвозди, так и быть, провернул бы гривенник.

Сельские Дему на смех подняли:

— Ты бы, — говорят, — в церкви спросил, за свечным ящиком продавали...

— Я шутки ради, а вы уж за правду повернули...

Пошел опять вдоль ограды, чтобы могилки навестить. Здесь у Демы все родители лежат, вот и Варварина. Целое лето собирался дерном обложить да крест поставить, а так и не собрался. — «Надо как-нибудь робят спосылать», — подумал и стал на крестах надписи читать.

На редком кресте не было надписи. Большинство из них Дема еще с детства помнит. Особенно одну: «Роман Сергеич Чохов от злого недуга скончался во цвете лет». Число и год заросли мохом и разобрать было нельзя. Поближе к алтарю была могила дьякона. Возглавлял ее белый камень, по

которому были выбиты слова, обведенные синей краской:

«Под сим крестом погребено тело диакона
Иринарха Преображенского, скончавшегося
7 августа 1874 года от почитателей».

Неподалеку была Варварина могила, без креста и не оправленная.

Дни стояли погожие, после дождливого лета лист опадал не скоро. Пожелтели только осинки, да вяз точно в крови выкупался, а клен и береза все еще в летних платьях щеголяют.

Феклист видел, что Дема мимо прошел, — «не иначе на кладбище», — про себя подумал. Тошку племянника торговать оставил, а сам вслед за Демой, и тоже будто на могилки к родителям. Ходит по кладбищу, кресты ищет, то перед тем, то перед другим поклоны бьет, и словно нечаянно на Дему наткнулся:

— Родителей навестить? — на могилки показывает.

— У меня Варвара тут, — Дема на могилу ногой стал.—Все собирался оправить да руки не доходят...

— В нашей жизни, в суете да сутолоке никогда время не выберешь, все некогда да недосуг... Да! Так вот и смерть подберется и не опомнишься... Не только штобы там о душе подумать...

— Думай, не думай, а умирать не минуешь, — Дема с Феклистом соглашается.—Думать оно хорошо, у кого нужды нет, а нашему брату одна думушка, чтобы без куска хлеба не остаться...

— Уж это как есть, — Феклист рядом на камень сел, — лето придет, об одном горюешь, что сутки малы, всего двадцать четыре часа...

Баюнов слушал и только перечить не хотелось. Уж говорил бы кто другой, а этому на что жаловаться? Если сутки малы, так по жадности, руки

то больно загребущи, так бы все и захватил, а подумал бы, много ли двоим требуется?

— Одни от нужды колотятся, другие по жадности, — Дема прямо Феклисту навесил.

Феклист тоже не стал скрываться, что не понял, в чей огород камешек кинут:

— Жадность, как сказать? Ежели бы нужда не толкала...

— Тебя особенно...

— А ты как думаешь? Что у меня капиталы, али девать некуда? Нет, Дементий, все это одна выдумка... Не от тебя первого слышу... Только одно говорю — господь с вами, може владыко небесный зачтет на предбудущем, — Феклист фуражку снял и поверх золоченого креста колокольни в голубое небо уставился.

По небу высоко, словно вата, неслись раскиданные облака, одни быстро, толчками, другие медленно и плавно, почему казалось, что плывут они в разных направлениях. Заглянув сбоку на Феклиста, Дема видел его сухой профиль, с вздернутой кверху бородой, а глаза все чего-то шарили между облаков, в голубых пролетах — «не иначе бога ищет», — Дема подумал и сам голову кверху задрал.

— Топерь вот наших мужиков взять, — Феклист первый начал, — сколько греха положили у нас с братом поля отбивамши, а топерь выходит — ни себе, ни людям... Лебедев назад берет...

Берет или не берет Лебедев, Деме очень неинтересно, все одно он ни чем от земли не воспользовался:

— Два урожая сняли, а в мой сусек ни одного зернышка не закатилось...

— В газетах пропечатано, скоро для нас послабление выдет... Все, которые трудящие, опять постарому, и земля и работник полагается...

— Мне все едино, — Дема начал из штанов репейник вытаскивать: — батрака не ищу и сам в батраки не собираюсь...

— Ты не взыщи, Парфеныч, а на правду слово скажу. Гляжу я на тебя и думаю, что это за народ пошел? Вот к примеру меня взять, я каждому человеку добра хочу, а ты на меня волком глядишь... И не ты один, другие тоже не лучше...

— Никак я на тебя не гляжу, — Дема не соглашается, — нам самим до себя...

— Нет, это ты неправду... рази я не вижу...

— А видишь и говорить нечего...

— Я к тому, через кого этот разврат пошел... Жили как все добрые люди и никто друг другу не мешал, а тут, на, сделай милость, все виноваты. Нехватки у кого нет? Только это не от нас, это уж самим господом богом положено... Вон она, птица и то не в одном пере, — Феклист на синичку показал, которая, весело посвистывая, кружилась на березовом сучке.

Поглядел и Дема на птичку, а с Феклистом все-таки согласиться не хочет. «Если уж так богу угодно, чтобы ты в нищете да до гробовой доски маялся, а разные Феклисты Кокины, как сыр в масле катались, на кой нам и бог тогда», про себя подумал, а Феклисту прямо отрезал:

— Бог то бог, да сам будь не плох. В этом и суть, мы на бога-то расположились и рукава спустили, ан нет, ежели ты разлопоушился, никакой бог не пособит...

— Это ты напрасно, бог един и все видит... Он помогает кому следует...

— Вам с братом...

— Мы не обижаемся... благодарим всевышнего создателя... Злые люди и так и сяк, а мы на него, батюшку, вот как уповаем...

— И уповайте, — Дема смогилки поднялся, — а мы без упования...

Феклист тоже поднялся и, ничего не ответив, стал креститься на церковь, а потом, нахлобучив шапку на уши, догнал Дему:

— Я было к тебе с делом, только ты возгордился очень. Напели тебе в уши и то и другое...

Дема остановился и поглядел на Феклиста. В памяти у него мелькнуло, что может-быть и вправду Феклист ему добра хочет. Вот и прошлый раз, когда у него куска хлеба не было, кто ему работу дал? Феклист. А до него никто не посыкнулся, ни Данило, ни свои ребяты, ни Пуговкин, даже Тузов, через которого он места лишился.

— Давай, говори...

— Нет, уж до другого раза...

Так и разошлись...

Дема домой вернулся поздно вечером. Панька с Сенькой сидели на печке и мучили котенка, ни Петьки, ни Верки в избе не было.

Нашарив в потемках лампу, Дема чиркнул спичкой и зажег. В избе сразу выступила вся нищета, на которую раньше не хотелось обращать внимания: покосившаяся на бок печь, прогнившие половицы, корчага с отбитым краем под глиняным рукомойником и черные от копоти стены, завешанные всякой рваниной — носильное для всей семьи.

Ближе к передней лавке у окна висел Петькин пиджак и суконные брючки, в которых он так полюбился отцу, но теперь довольно поношенные и загрязненные, потому что в первое время Петьке не было во что переменяться и он целыми днями не спускал их с плеч.

Вытертые и вздувшиеся на коленках штаны напомнили отцу Петьку, который, несмотря на обещание, данное по дороге домой «даже пахать»,

плохо привыкал к дому и не особенно охотно выполнял порученную ему работу. В таких случаях Дема сердился на Петьку, называл его: бродяга, дармоед и непутное семя. Нередко на долю Петьки выпадали подзатыльники, но мальчишка терпеливо переносил и то и другое, но угождать отцу не считал нужным. Было у него что-то свое, никому в семье не известное, с чем он явился в деревню и затаил до случая.

Одна Верка понимала, что надо отцу, и только она единственная из четверых была необходимой в семейном обиходе.

С раннего утра у Верки начинался трудовой день. Подоив и напоив корову, она затопляла печь и до самого обеда торилась по избе, вычищая и выметая скопившуюся грязь. Заняв кое-чем младших братьев, Верка шла на двор, где на нее глядела работа со всех сторон, на которую у Верки нехватало рук. Старший из братьев и сам отец смотрели на все сквозь пальцы и не хотели обратить внимания на то, что хлев, где недавно завелась корова, плохо огорожен, омшанник, в котором на зиму надо ставить теленка, разваливается, а две куры, без петуха, не имеют нашести и на ночь забираются в сени на переклад, откуда пакостят Верке пол. Петька больше носился с товарищами по огородам, воровали подсолнухи из Феклистова сада и жгли в поле костры, запекая в углях картошку. Отец целыми днями сидел, облокотившись на стол, и читал какой-нибудь обрывок газеты, явно изнывая от безделья, но то дело, на котором подыхала Верка, не казалось для него настоящим делом и не заслуживало его участия. Для мужика, по его представлению, было зазорно заниматься такими пустяками, как пеледить мохом омшанник, устраивать нашест для кур, или выбирать свеклу

из развалившихся грядок. Ему нужно такое дело, от которого бы был припент для хозяйства; которое бы кто-то оплачивал или приносило своевременно какой-то барыш. Такого дела не было, и Дема предпочитал сидеть у стола или лежать на печи, мечтая о том, как наконец-то он выбьется из этого трудного положения и крепко встанет на все четыре копыта.

А чтобы стать на четыре копыта, ему нужна лошадь, зимой подработать с полсотенки, как и где об этом он не знал, но твердо рассчитывал, что она найдется, но главное лошадь. Из денег, присужденных с попа осталось не более двух червяков, если не считать данных в долг на свадьбу Даниле. Лошадь на них не купишь, значит откуда-то надо добыть целую сотню рублей, только на одну лошадь, а на сбрую к ней, это особь статья.

Оглядываясь кругом, Дема впервые почувствовал, что при такой скудости, как у него в хозяйстве, едва ли удастся своими силами стать на ноги. Прикинув в голове, от кого бы он мог ждать поддержки, такого человека не нашел и сознание оброшенности еще сильнее забродило в больной с перепоя голове.

Дети слезли с печи и молча сели за стол, поглядывая на отца, дожидаясь, когда он заметит их, но Деме было не до того.

Наступала холодная осень. Предстояла бесконечно длинная зима. Ни на дворе, ни в сусеках не было никаких запасов, ребята разуты и раздеты, даже дров не было заготовлено по теплу.

Спросив, где Верка, Дема полез на печку, приказав детям не баловать с огнем и сидеть смирно. Верка ушла к Осокиным, за ней приходили с утра, и теперь должна скоро вернуться. Петька убежал

«на капустник», есть кочерыжки и прошатается чуть не до полуночи!

«Надо за него взяться по-настоящему»,—подумал Дема, сгруживая тряпье под бок на горячую печку, и незаметно для себя заснул крепким сном.

Проснулся он только утром. Верка топила печь, Панька с Сенькой спали на кутнике, где их оставила Верка, а рядом с ним, сжавшись в комочек, лежал Петька, размеренно посапывая носом. Неслух и дармоед мальчишка казался теперь таким беспомощным и маленьким, маленьким, что у Демы как-то сама собой потянулась рука к нечесанной белой головенке. Петька забормотал впросонках, а отец поскорее отдернул руку, чтобы сын не заметил его слабости.

— Встала? — Дема из-за трубы окрикнул Верку.

— Уж печку протапливаю. А я тебя вчера будила-будила ужинать, так и не встал...

— Где там... Больно голова разболелась...

Спрыгнув с печи, Дема сполоснул лицо из рукомойника и стал по привычке лицом в передний угол, где раньше стояли образа. Заметив, что на их месте стоят какие-то пузырьки и берестяный бурачек, в котором бывало Варвара держала соль, он круто повернулся к порогу и, постояв минуты две возле кутника, где спали младшие дети, снова вернулся к столу.

Отворив окошко, Дема высунулся на улицу, заглядывая из конца в конец. Наступало утро, туманное, теплое, с еле заметным дождем. Скотину выгоняли не дружно и пастух не торопился гнать ее за околицу. Демина корова «новокупка», как ее стали звать в деревне, ходила у колодца и подбирала капустные листья. На каждую корову, подходившую к ней, она фыркала и мотала головой.

Коровы сторонились и, угрожающе наклонив рога, медленно, не сгибая шеи, проходили мимо.

От Пискуновых вышел пастух и, закручивая собранный петлями кнут, укладывал его через правое плечо.

— Не торопишься? — спросил Дема, когда тот поровнялся с его окном.

— Туман большой ... Волки появились. В Трухачеве двух телок задрали, — и, мимоходом замахнувшись на «новокупку», погнал стадо к выгону.

День начался.

Мызино готовилось к зиме. Возили дрова, обваливали избы мохом, оставляя вместо окон небольшие отверстия, через которые скупо пробивался свет. Заботливые хозяева вязали соломенные щиты и ставили их с подветреной стороны, защищаясь от заносов. Бабы собирали льны и мочили их в бачажинах, чтобы с первыми заморозками насаживать им бани.

Захлопнув окошко, Дема разбудил Петьку, чтобы после завтрака итти в лес. Верка поставила на стол чугун картошки и деловито, ни на кого не глядя, как это бывало делала Варвара, сказала:

— Ешьте, — и снова вернулась к печке.

Петька, выросший из голубенькой рубашенки, сполз с печи, направляясь к рукомойнику. Потягиваясь и зевая, он начал умываться, еле касаясь чуть смоченной рукой до заспанной рожицы.

— Умывайсь, умывайсь хорошенько,— крикнул от стола Дема:—а то, брат, только грязь развозишь...

Петька не любил умываться и поэтому у него чистой была только часть лица: лоб, нос и подбородок, а на шее, возле ушей и во всех впадинах оставалась непромытая грязь.

С этого начинался для Демы день, томительный и скучный в своей обыденности: чугун картошки

утром, чугун похлебки в обед и холодная картошка на ужин.

Большим лакомством был чай с маленьким кусочком сахара и краюхой черного хлеба. Дети необыкновенно расчетливо расходовали свою порцию и умудрялись с крохотным кусочком выпить пять-шесть чашек чая. Пили его два раза в день: утром, вслед за картошкой, и вечером, как зажигать огонь. Это было самое хорошее время для всех. Все собирались за стол с кипящим самоваром, Верка начинала разливать чай, в стаканы для отца и Петьки, и в чашки с отбитыми ручками—для себя и маленьких братьев.

Отец в эту пору был приветливее, чем в другое время дня, и нередко шутил с старшими, а младших даже сажал к себе на колена. Это была единственная радость для ребятишек, и может-быть поэтому они никогда не просыпали утреннего чая, как бы крепко ни спалось перед этим.

Сенька начал хныкать, продирая заспанные глаза, отбиваясь ногами от лохмотьев, которыми был закутан вместо одеяла. Верка ловко выхватила его из-под них и толкнула к умывальнику. Панька проснулся, но еще не вставал и лежал вверх лицом, прижимая к груди измученного котенка.

Дема пил чай и глядел на все не своими глазами. Нищенски-убого было в избе, обидно накренилась печь, оскорбительно коротка рубашенка на Сеньке, и сама Верка, сгибающаяся вдвое под тяжестью чугуна, точно в первый раз бросилась ему в глаза.

«Все от меня», — решительно промелькнуло в голове: — «все от меня».

Надо что-то делать. Надо сразу поворотить на другую дорогу. Когда в деревне случится пожар, тогда первый увидавший выбегает на улицу и кричит: «горим, помогите»!

Деревня всполошилась, старый и малый спешит на помощь и общими усилиями борятся с огнем. Пожар в деревне — общественное бедствие, и на почве борьбы с ним объединяются все други и недруги, бедные и богатые, но как быть в Демином положении? Он явно видит свою гибель, гибель «ни в чем неповинных» детей, и нет ниоткуда ни помощи ни поддержки.

Не один раз у него являлось желание выбежать на улицу и закричать! «караул, погибаю!» Но что из этого выйдет? Одни посмеются, другие скажут «сошел с ума», и никто не подумает вникнуть в его положение, даром что каждого из них может постигнуть такая же судьба.

* *
*

В лесу заметнее осень, чем в полях, особенно если моросит вот такой мелкий дождь, который ложится на землю не струей, не каплями крупными и отчетливыми, как бусы, а кружится перед глазами мокрыми пылинками и виснет на кончике сосновых игл мелким бисером.

Дема шел по знакомой дорожке «к святому колодчику», где он выстроил новый навес и прочистил родники. Петька в стоптанных материных башмаках на голую ногу старался итти в ногу с отцом. После завтрака отец как большому напомнил ему, что пора подумать о зиме и приняться готовить дрова. Правда, у Петьки нашлось бы и другое дело, более интересное, например—с пастухами в Дубровском бору жечь костер, печь картошку и следить за волками с высокого дерева, как они, приложив уши и опустив поленом хвост, шмыгают по перелескам, подстерегая отставшего теленка или глуповатую овцу. Но раз отец говорит «надо»

и он, Петька, нужен в работе, конечно, спорить не станешь.

Итти оставалось недалеко. Прошлым летом здесь горели торфяные болота, и весь молодняк по кочам и буграм, теперь опаленный и частью обугливши́йся, разрешалось брать на топливо. Ближе к дороге все было вырублено, оставались самые дальние участки, к которым был плох доступ на лошадях.

В сосновом бору по белому моху росли запоздалые рыжики и боровые. Пахло трухлявым деревом и разложившимися грибами. Дятел где-то далеко стучал, как на току, а резвые синички то и дело перескакивали с сучка на сучок, не стесняясь присутствием людей в их царстве.

От самого колодчика и вплоть до железной дороги тянулись топкие болота верст на десять, а то и больше. Обомшалые пни, вывороченные с корнем деревья зелеными островами плавали в сплошном море баговника и гонобобеля.

На редких сухих гривах росли корявые сосенки и чахлый березняк. В более топких местах, где белый мох задернул стоячую воду, укрепившись на перегное жирных трав, красноватые стебли журавины, с мелкими темнозелеными листочками, тянулись во все стороны. Сюда были проложены тропинки досужими бабами, известными ягодницами. Привыкшие с детства к своему Чертолью, они умели отличать настоящий грунт от зыбкой топи, обманчиво манившей на зеленый ковер из болотных трав, и осторожно обходить чарусы, отражающие глубину неба.

На Деминой памяти было два-три случая, когда ретивая ягодница, не дожидаясь товарок, уходила за гонобобелем и, неосторожно свернув с тропинки, бесследно гибла в предательской чарусе.

Каждый такой случай потом в деревне расценивался и объяснялся по-своему. Чаще всего винили в этом лешего, так или иначе обманувшего погибшую. Слышали стоны, которые до «самых третьих петухов» неслись с болота, видали слабые огоньки, вспыхивающие в различных направлениях— это загубленные души с божьими свечками ищут грешную плоть, затянутую болотом.

Святой колодчик под новым навесом из желтых тесин все так же гнал со дна белые кудри, все так же была прозрачна вода, и только еще больше и гуще висело тряпье на соседних кустиках и медные крестики, снятые с шеи больных, болтались на грязных гайтанах.

— Садись, покурим,— скомандовал Дема и, высморкавшись прямо в ладонь, начал свертывать папироску.

Петька жадно вдыхал махорочный запах, перемешанный с ароматом лесных испарений, но попросить у отца «курнуть» нехватало храбрости. А курить он выучился еще в городе, воруя у отца Серафима «Шедевр» и «Нашу марку» из нарядных коробочек. В деревне урывками перехватывал у товарищей, а чаще у пастуха.

Докуривая потемневший окурок, Дема заметил, как Петька жадно вглядывается в синеватые струйки дыма, глотая обильную слюну.

«Чай, курит, сукин сын», — подумал про себя Дема, но потчевать сына все-таки не стал и, выплюнув замусоленный окурок, наступил на него ногой.

— Пойдем, Петяк, а то мы так-то до темна не доберемся...

От колодчика своротили тропой по окраине болота и, обогнув по песчаной борине, вступили на зыбкий грунт. Шли по еле заметной дорожке,

чаще всего наугад, прыгая с кочки на кочку по направлению к сухой гриве, ощетинившейся на горизонте опаленным молодняком.

Дема шел вперед, нащупывая дорогу, и часто оглядывался назад, предостерегая сына от опасных окон, зияющих бездонной пустотой. Петька бойко прыгал за отцом, стараясь ступать в его след, и весело улыбался, когда отец оборачивался к нему.

— Вот и приехали, — пошутил Дема, становясь на твердую землю: — гляди, сколько его... Ежели весь повалить, на целую зиму хватит...

Скинув рваный пиджак, Дема остался в одной рубахе и начал рубить молодой березняк, не успевший просохнуть за лето. Топор бесшумно впивался в почерневшую кору, отваливая пласты белых щепок от сердцевины. Петька чистил сваленные деревья и любовался, как под сильными взмахами отцовой руки молодые деревья падали во весь рост.

Часа через два у Демы капало с каждого волоса, а синяя рубаха потемнела на груди и лопатках.

— Будет, — сказал он и сел на песчаный бугорок, вытирая тульем фуражки градом катившийся пот.

Поджидая, когда Петька очистит последнюю плаху, Дема развел костер и, вдыхая полной грудью свежесть осеннего дня, поворачивался к костру спиной и животом.

— Бросай, иди обедать...

Петька топорище на плечо вскинул и, вытирая под носом пот, все лицо сажей вымазал.

— Эк, ты нарумянился, — отец посмеялся и велел сыну в колдобине умыться.

Оба они находились в приятном возбуждении от сознания полезности их труда и небывалой

бодрости, несмотря на легкое утомление. До сих пор Деме приходилось много и долго работать «по нужде, по обязанности», и всякий труд казался ему вроде божьего наказания и необходимым «для нашего брата». Сейчас, после вынужденного безделья и позабыв на время, что этот труд не улучшит его безвыходного положения и не будет никем оплачен, все-таки захватил его целиком и дал выход не совсем еще растраченным силам, заполнив его сознание радостным удовлетворением.

Потому ли, что день, с утра серенький и мглистый, с обеда улыбнулся бледно-голубым небом, потому ли, что вместе с ним на одной и той же работе копошится его сын, его наследник в будущем, Дема чувствовал себя снова полноправным членом трудовой деревни и попрежнему смелым в предстоящей борьбе за существование.

— Ничего, — утешал он себя, обращаясь к сыну, когда тот с мокрым лицом и стекавшими по нему грязными струйками возвращался к отцу, — как-нибудь выберемся...

Петька понял, что отец боится итти по болоту, в свою очередь выразил полную уверенность, что по свежим следам будет итти куда легче.

Ели хлеб, поджаривая на горячих угольках. Петьке он казался необычайно вкусным, и только досадно было на Верку, что она мало положила его на обед. Подкинув новую охапку хвороста, Петька отошел из подветреной стороны и, протянув руки к огню, выразил сомнение, что на лошади сюда не проехать.

— Дуралей, рази мысленно... Надо ждать заморозков... Как ударят, так и ехать...

— Еще долго, пожалуй...

— Успеешь, зима велика...

Петьке тоже полюбилось в лесу, главное, с отцом и в настоящем деле. Без нужной сноровки и при большом усердии, по-руку с отцом, у него от топорища на ладонях вздулись кровяные пузыри, а под лопатками чувствовалась непривычная боль, которую он тщательно скрывал от отца, но все-таки было весело и приятно стоять перед костром, вокруг которого лежали в переплет только что срубленные деревья.

Дема после обеда докуривал папиросу и, заметив жадные взгляды мальчишки, теперь не утерпел и сунул ему окурок:

— Хочешь? Курни разок...

Петька быстро схватил папироску и жадно во всю грудь глотнул едкого дыма.

— Куришь? Сволочь! — недоверчиво спросил Дема.

— Балуюсь с мальчишками...

Признание Петьки несколько обидело отца, но бранить его не стал и только более строгим голосом напомнил, что надо плахи собрать в одно место:

— А то занесет и не сыщешь...

Возвращаясь домой, отец и сын больше не разговаривали и слушали, как на большой дороге по заводской гати галдели мужики, возвращаясь с работы по постройке моста. У колодчика они должны были сойтись вместе, но Дема нарочно задержался, чтобы дать пройти сначала артели. В начинавших густеть сумерках Дема еле узнавал своих бывших товарищей и бесшумно стоял под густой елью, пряча за собой Петьку.

Впереди шли Балявин, Гаврила Панин и Вася Дупель, несколько сзади, опираясь на подожок, ковылял Пискунов, задорно вскидывая седую бороденку:

— Была бы шея, хомут наденут, Гаврюха, это ты зря...

Гаврюха с чем-то не соглашался, и Дема видел, как он тыкал в кого-то пальцем, но что говорил, разобрать нельзя. Пискунов снова не соглашался, и по отдельно долетавшим словам можно было догадаться, что работа на мосту кончилась и артель получила расчет.

Выждав, когда спорщики ушли шагов на двести вперед, Дема дернул Петьку за руку:

— Пойдем...

Но тут, чуть не рядом, раздались новые слова:

— Ежели лошадь, обязательно в Суздале, — говорил старший Панин. — В Серьгов день ярмонка, там их тьма-тьмущая...

Игоха Фомин указывал другие места, где лошади чуть не даром:

— Суздаль без двух сот не показывай глаз... А нам лошадь — за полста, велико дело — сотня...

— Это не лошадь, Игнатий... За полста, что за лошадь? Поработал на такой месяц и гони к живодеру — я тебе говорю... Купить ли, нет ли, так уж лошадь...

Фомин сердился на Панина и доказывал, что по нашим местам такие — самые подходящие:

— Земли-то с горсть, а зима придет, только корм гатит... Ежели бы какая работа была...

Дема с Петькой вышли из кустов и пошли вслед за ними, перехватывая отдельные слова из их разговора.

По всему заметно, что артель не плохо заработала и теперь собирается пустить в оборот, на поправку разоренного хозяйства. Спорили только о том, какая лошадь удобнее по их месту: в полста или в двести.

Петька тоже слушал, и когда стали подходить к овинам, поворачивая к своей усадьбе, спросил отца:

— А мы какую купим?..

Дему словно кто ножом пырнул после Петькиных слов. Что он ему ответит? «На кукишь, мол, не купишь!»

А ведь до этих пор у него самого в голове не было, на какие такие капиталы он лошадь купит. Думал день и ночь об этом, а откуда на лошадь деньги явятся, он и сам не знал. Покуда с попа не получил, все на них располагался, а получил: то туда, то сюда, и осталось пустяк. Вот если Данило долг отдаст, так и то что́ на такие деньги делать? Теленка купишь, а больше ничего. А Петька, не дожидаясь ответа, говорил о том, что у Феклиста в чайной разговаривали:

— Работы на всю зиму хватит... На завод торф возить...

— Ты бы меньше по чайным мыкался, — отец Петьку обрезал: — а курить у меня брось!.. Увижу, с губами оторву...

* * *

Зима стала рано. На Покров первый снег выпал, дня два полежал и опять стаял, а на Казанскую морозы ударили. В деревнях говорили, что простоят до Михайлова дня, а там опять отпустит. У Феклиста на постоялом снова обозы останавливаются. Работы много, рук нехватает. Еграша не хочет отцу помогать, а Тошку Петруха в город учиться отправляет. Без чужого человека не обойдешься.

Встретил как-то Баюнова:

— Петька у тебя без дела шляется, давай-ко мне... пусть приучается...

— Мал еще, а у тебя такое дело — избалуется...

— А ты полно, Дементий... Ежели в ком што есть, его не скроешь... Куда ты ни пошли такого человека, а здесь на глазах...

— Подумаю, — Дема говорит.

— И думать нечего... Пусть приходит... От меня обиды не будет...

Деме Баюнову не с кем советоваться: Верка глупа еще, а с Петькой и подавно. Что это за человек? Тринадцать годов,—что отец скажет, значит так и будет. Хуже всего то, что мальчишко спит-видит, как бы в чайную попасть. Целые дни там трется, недаром Феклист с отцом разговор завел. По-настоящему Деме и раздумывать нечего. Скачал лишний рот и то слава богу. Денег ни копья, только что за Данилой осталось, а когда Данило соберется долг уплатить, еще на воде вилами писано. Работы тоже никакой не предвидится. Выбирать не из чего.

— Ступай завтра к Феклисту, — Петьке говорит. — Только у меня гляди, чтобы баловство, али чужое што... Лучше домой не показывайсь.

Петька и богом и глазами клянется, что у него и в разуме нет и все до копеечки, что заработает, будет отцу приносить; самому ему и того довольно, что после гостей будет говядину доедать, а другие, которы с завода, еще белый хлеб оставляют.

— Ладно, там видно будет, — Дема рукой махнул, а все-таки снова Петьке напомнил, как надо себя в людях вести, чтобы потом из него человек вышел.

Наступали тяжелые дни. Хлеба оставалось дня на два не больше, а Данило с долгом не торопится, как ты ни бейсь, а напомнить придется. И то сказать, от своих денег такую нужду терпеть!

По старой памяти, как-то Гаврюха Панин зашел (о том, что Дема в Спас-купалищах с попами на-

скандалил, понемножку забывать стали). Ведь и то сказать, первое время на Дему сердились, дескать, против бога пошел, а тут, как своя же молодежь начала этого бога разбазаривать, и на Дему рукой махнули: каждый, мол, по-своему с ума сходит. Да и время не такое, куда ты ни обернись, все по-новому. На ихой памяти, бывало, про царя пикни, так тебя, голубчика, в двадцать четыре часа заметут, а теперь про него же про самого сопливые мальчишки срамные припевки поют. Вот и гляди, как они времена-то меняются. И бог тоже, покуда старики живы, так еще туда-сюда, а как молодняк выправится, ну и кончено, ни бога, ни попа, ни церкви, ничего не надо. Главное, за последнее время будто и бог отступился. Потому ли, что народ осатанел, потому ли, что попы плохо молятся, только уж ни посты, ни молитвы, ничего не помогает. А може и вправду народ умнее стал и сам до всего додумался, только и православные не очень к богу привержены. А если когда под задор какой и упрекнет Дему, так не потому, что сам уж больно за бога держится, просто человека уничтожить хочется.

В старину, рассказывают, и святые, и угодники, и старцы праведной жизни, а теперь одни попы, да и попы-то неправские: нынче он поп, а завтра рясу долой и: «простите, православные, двадцать годов вас обманывал». Ну чего с такого взять?

Пришел Гаврюха и начал достатком хвастаться:

— У меня теперь, Баюнов, божья милость, лошаденка... Огоревал, слава тебе господи!.. А сколько до этого я горя хлебнул, може не меньше твово...

Дема полюбопытствовал: «как, мол, за лето, сколько выручил?». Гаврюха, видимо, не хочет весь заработок показать: «чорт его знает, как бы еще в долг не попросил», — про Дему подумал.

— Заработал не мало, да все уж к месту определил. Весной, как только, господи благослови, работнику, — Гаврюха пальцем в левую ладонь ткнул, — к Троице семье носильное справил. На покос косца брал, ну праздник, конешно, тоже в копеечку въехал, а от людей отставать не хочется... Теперь вот продналог, обувь готовь... Эх, Дементий, по нашей нужде работай круглые сутки и то всее не скачаешь...

Дема слушал и глядел, как Гаврюха тыкал указательным пальцем в ладонь левой руки при каждом новом расходе. Денег истрачено много, что об этом говорить, и если бы, к примеру, Деме столько, он бы на них «пол Москвы построил», но сознаться, что ему «вот как туго приходится», Дема не хотел и даже стыдился Гаврюхи за корчагу с отбитым краем, вместо рукомойника, за покачнувшуюся печь с выщербленным челом и оконные рамы, заткнутые тряпицами. Младшие дети, затосковавшие при чужом, неслышно сползли с печи и, карабкаясь на кутник, показывали беспортошные ноги.

— Што вам не сидится, — прикрикнул Дема, раздосадованной детской наготой.

— Дети, чего с них взять, — заступился Гаврюха,—и, посмотрев, как они робко жались в уголке, пряча ручонки в рукава коротких рубашенок, вспомнил о своих — одетых и обутых во все новое:

«Вот оно, что значит без матери...»

Деме не хотелось с Гаврюхой говорить, а главное, досадно было, когда тот, казанской сиротой прикидываясь, да без дела на свои нужды жаловался.

— В нужде родились, в нужде подыхать — ишь удивил чем!..

— Оно, как сказать... Человек, ежели себе добра хочет, — теперь уж Гаврюха не соглашается.

— А если его нужда повалила?..

— Теперь божья милость, что это? Без хлеба только рази лодырь какой.

Тут уж и Дема не выдержал:

— Эх, ты, растакая мать, разграблена! Давно ли ты по-человечьему пищать начал? Где ты раньше-то был? Нищедуй, вдоль тебя повороть... Лодырь, туда же, какое слово-то сказал!..

— А ты полно, Дементий, не больно зазнавайся... Мы не виноваты, ежели ты своему дому не рачитель...

Дема ли человек не покладистый, а и тот из терпенья вышел:

— Уходи,—говорит:—покуда греха не вышло, а то не дай бог...

— Не гони, сделай милость, и сам уйду... Ишь чем напугать вздумал... Да кабы не жалко, я к тебе и ноги не наложил...

— Ступай, ступай... Много вас жалельщиков... Богатеи, от ково вы кусок хлеба получили?

— Не от тебя ли уж?—Гаврюха пальцем ткнул.—Гляди, самому подавиться нечем...

Дема к нему, а тот за порог и только, когда мимо окон шел, головой мотнул, дескать: «это тебе не пройдет».

* *
*

Снег выпал и лежал на мерзлой земле, но саней в Мызине никто не готовил, ездили на колесах, ожидая, что не нынче-завтра стает. Такого снега не признают в деревне. Настоящий путь станет только тогда, когда снег ляжет на сырую землю.

Ломали оси, вылетали спицы, сваливались шины с колес, а в сани не запрягали:

— Еще в Введенье ломает леденье...

До Введенья оставалось две недели, ждали оттепели и к работе на лошадях не приступали. У Демы

в лесу застряли дрова. Болото не везде промерзло и подъезда к дровам не было. По первой пороше он сперва один сходил и принес две плахи. Хватило ненадолго. На другой день пошли с Веркой. На третий раз опять один, а потом надоело и стали перебиваться кое-чем в ожидании санного пути.

Несмотря на непрочный снег, морозы стояли крепкие. Начали опасаться, как бы не стала зима, вопреки общему убеждению, что снег не лежит на мерзлой земле.

Мызино за семь лет первый раз на осень обернулось. До этого как-то и в голову не приходило, что зима, что лето в одном цвете, все одно—голод да нехватки. Теперь другое положение: лето отработали, оглянуться кругом нестрашно. В сусеках — дна не прощупаешь, на гумне — в одоньях заплутаешься, а в которой избе покопаться, так глядишь и лишнюю десятку из укладки вытянешь.

Про Кокиных и говорить нечего, у этих никогда до ручки не доходило, а вот Панины, Балявины, Пискуновы разные, на этих удивленье одно, откуда что берется. Лошадь, это что! С ног до головы во все новое оделись, возле дома мохны подобрали: там подрубят, там поконопатят, там печку переложат,— жители, одно слово.

На сход выйдут, тоже по-другому поговаривают. Бывало слушают, что справные домохозяева говорят, а теперь, где там, сами норовят, чтобы люди слушали.

Петруха Кокин, известно, сума переметная, тычется туда и сюда, глядит, нельзя ли у кого из-под рук вырвать да к себе мякишем поворотить, с предсоветом стакнулся и перед миром шапку снял:

— Граждане православные, хочу я вам предлог сделать...

— Сделай, сделай, — мужики соглашаются. — Больно ты на эти штуки вышел...

— А вы помолчите, ежели человек, к примеру...

— Говори, Петруха...

— Я, православные, не с пуста места... Я это м е т о давно в голове держу. — Петруха шапку надвинул и бороду из-под ворота выправил.—Советская власть говорит кажному — работай и никто воспрепятствовать не может... Опять на счет недров... А што эти недры, как понимать надо. Другие — недры и недры... Нет, тут с головой надо... К примеру, глина, вот это и есть недры. Наша земля всему миру известна, недры богатеющие, у нас они под боком, а нам наплевать больно...

— В чем дело? — кое-кто торопит. — Ты попроще валяй, чтобы всем внятно было...

— Так вот... Углядел я местечко, где этой глины конца края нет. Кажется, вот будь деньги да открой завод — золотое дно...

— А кабы деньги, так и золотого дна не надо,— Гаврюха поперечил.

— Так негодится, — Петруха обиделся. — Здесь нужно с рассуждением...

— Ты уж больно крутишь,—председательсовета недоволен.

— С нашим народом видно пива не сваришь, — Кокин обиделся и хотел к сторонке встать, но мужики теперь сами говорить заставляют.

— А ты свое дело правь... Мало ли что, кому в голову втемяшится... Валяй, давай...

Петруха опять начал и совсем вплотную к своим «недрам» подвинулся.

— Думали мы с братом так: ежели мир не воспрепятствует, на свой кошт все дело оборудовать... Ладно, где наше не пропадало, барыши,

убытки, все наше, только хотим для мира потрудиться, на!..

— С чего это? — Гаврюха спрашивает, а его в пять глоток:

— Заткнись!

— Ишь у тебя, как восца на репице...

— Ежели мир по нашему делу решенье положит, так мы этой же зимой будем завод строить...

— Строить, конешно, не заказано. В нонешние времена каждый может, дело не в этим, а где, тут другое дело...

— Совсем под боком, — Петруха покуда не хочет свой секрет открыть.—Сечас, как только за Пискунов прогон поворотишь мимо межи, возле сухова дуба тут и есть...

— Где же это? — мужики никак не поймут. — Ежели в поле, так там теперь озимое, а по сю сторону — усадьбы Балявина, Дупеля, а супротив дубка — Баюнова...

— Вот тут и есть, — Петруха подхватил, а сам на мужиков глядит, словно они ни весть какую загадку разгадали.

— Первым делом, как только, господи благослови, ежели, конешно, дело пойдет, для мира под школу кирпича жертвуем... Это уж обязательно...

— Курица на гнезде, яичко, сам знаешь, где, а Петруха уж цыплят считает...

— Здесь, Пискунов, смеяться нечему, — предсельсовета заступился, — ежели человек для мира радеет, смешнова нет...

— Правильно, — с предсельсоветом кое-кто тоже согласны: — сами-то мы ни в свете не соберемся, к примеру, школу эту...

Петруха мир не больно обнадеживает, главное еще — «как дело пойдет».

Раз такое дело с бухты-барахты не постановишь, надо как следует покумекать сначала. Кокины народ дошлый, за-зря тоже не кинутся. Только где же это золотое дно обрящили?

— Може под озимым? — Пискунов не вытерпел.

— Како там... Совсем никудышная... У Баюнова на усадьбе...

— Вона што!.. Так это не с миром, а с Баюновым надо уговориться...

— Православные, — Петрухе даже смешно сделалось, — с Баюновым, говорите... Вам известно, Дементий человек несамостоятельный... Земля у него по чужим рукам гуляет... На усадьбе два лета сено не валяли, репейник да хвощ засел... А вы с Баюновым!..

— Если на то пошло, что мы погонимся, две-три копны сена дать тому же Баюнову? Да сделай милость...

Все собранье, кажется, с Петрухой согласно: главное, Дементий — мужик нерачительный, дом опустил, землю, скажем, отобрал, а что он с ней делать станет:

— На кнутовище пахать не поедет...

— Да есть ли оно...

— А тут и миру корысь...

— Оно правильно, ежели Кокин по-хорошему— мир не откажет...

Дема стоял у самого порога, возле лаза на печку, голоса не подавал, и не каждый знал, что он тут притулился. Сперва ему все это зряшниной казалось, «чтобы Петруха Кокин его усадьбу отбил», — а тут видит и мужики на его руку: «не хозяин, не рачитель», что с таким церемониться!

В сборной народ по скамьям и на полу, за столом председьсовета, а над ним на потолке лампа подвешена, светит на стол да на маковки. От

порога не видно, кто с кем по углам шепчется, да еще накурено, хошь топор вешай.

Петруха свово не упустит, если мир в его сторону качнулся: «Нам, говорит, с братом нельзя и мир не уважить. От мира мы обиды не видали. Ежели когда что, так уж это со стороны подвозыкивают... Вот, к примеру, поля... Что они? Опять в пустыре... Лебедев нипочем не хочет миру уваженье сделать... А мы худо ли, хорошо ли: часовне — ремонт, колодчик — наново... Теперь с Баюновым. Человек, можно сказать, конченный, а мы соответствуем... В долгу не останемся... У меня вон молотилка, попроси который, рази отказать совести хватит?.. Сделай милость!»

Дупель долго не думает:

— Проздравить бы...

Гаврюха Панин палец вытянул:

— Кокин, стой! Вот в чем дело. Усадьба это не вещь... И Баюнов для мира не указчик, а как ты усадьбу — в ренду берешь али?..

Дему от порога ветром кинуло — «ну, словно, о покойнике. Нет, брат, пока жив, кажному глотку перехвачу, попытай который».

На полу — в повалку, негде куре клюнуть. Дема через головы шагает и прямо к столу.

— Вот он — Пискунов, на Дему показал: — а мы про тебя тут...

— Слышу, што про меня, только мово согласья не будет... Слышите! — Дема назад обернулся: — А ты, Кокин, в душу тебя мать, попомни мое слово...

У Демы душа занялась, теперь бы он не только Кокиных — весь мир в порошок стер. Вот тебе и приятели! — а он думал: — «свой брат, неужто при нужде выдаст?»

Мужики каждый свое закричал:

— Ежели мир, скажем...

— Больно горяч, едрена мать...

— Ты не пужай! — Петруха вперед высунулся:— Я не с тобой, а с миром...

У Демы зуб на зуб не попадает: «что же всамделе, ежели мир захочет». Это его еще больше взорвало. «Пропадать, так пропадать», — как-то сразу в голове мелькнуло и, словно сам не свой, в Петрухину сторону мотнулся и сразу на две вытянутых руки наткнулся.

— Так ты вот как? — на Петруху кинулся, но тут же во весь рост на полу растянулся, какой-то чудак сзади за ширинку дернул.

— Бей! — кто-то в шутку крикнул.

— Сыпь, Баюнов, после подберешь...

По всей избе толкотня пошла, когда Баюнов под лавку носом запахал, кто на полу сидел, вставать начал, которые у двери стояли — вперед подвинулись. Висячая лампа на проволоке во все стороны заходила, кто-то головой толкнул.

— Тише, вы, дьяволы!

Покуда Дема на полу на четвереньках ползал, Петруху к стороне отжимали:

— Плюнь, охота связываться, диви бы человек был...

Баюнов привстал и сразу Петрухино лицо в глаза кинулось, красное, в веснушках и верхняя губа выворочена. Кругом мужики дожидаются, «что дальше будет», а у Демы в голове помутилось: «кончено,—почему-то в голову пришло,—ни одной души на мою руку», и прямо к двери кинулся.

— Дверь отворите, — председьсовета крикнул и одной рукой за лампу ухватился.

Дема не слушал, что ему в догонку кричали, може жалеют, може смеются опять, не все ли равно:

«все враги, все ненавистники», и только когда за скобу взялся, опять к столу обернулся:

— Душегубы, сволочи, попомните вы меня!..

* *
*

Как ни жмись, а пить-есть надо. Если бы еще он один был, такое дело, а тут то один, то другой за кусок хватаются. Верка печь хлебы не успевает, да и печь больше не из чего. Последние замесила, говорит:

— Папаня, останны...

Промолчал, что ей скажешь: дескать «купим» или «надо на мельницу съездить». Ни того, ни другого не выйдет, купить не на что, а на мельницу и ехать не с чем. Остается одно: к Даниле сходить да свои деньги стребовать. Кстати уж насчет лошади поговорить, може отпустит денька на два, а то сугробов навалит и к дровам не доберешься. Кто посправнее, также по чернотропу дровами запаслись, а Дема, что только на себе принесет, тем и переколачивается.

Собрался с утра, чуть светать стало. За деревню вышел, на свою избу обернулся: из трубы дым валит — «значит Верка печь затопила». Опять подумал, что не под силу девчонке по хозяйству справляться, и на себя попенял — жениться бы надо, когда на линии состоял, а теперь разве мыслено, чтобы какая дуреха за него замуж пошла. Какую ты ни возьми, хошь самую последнюю, и та скажет:

— Лучше пятерых в девках родить...

Покуда Дема по взгорью поднимался, деревня словно за ним по пятам гналась, то сараями, то овинами, то прялом кружила, и только уж когда к лесу пришел, отставать стала.

Морозом по дороге всю грязь стянуло. В колеях вода стала и льдом покрылась. Осень не

осень и зима не зима. Все снег, все снег, а тут рядом гряда травы зеленой, до заморозков пожелтеть не успела. По сторонам осинник безлистый, а промеж его красная калина гроздьями. Сторона лесная, всякой ягоды обора нет: брусника, журавика, гонобобель прямо под зиму остаются, а калину, так и за ягоду не считают. До старой конторки дошел, на обомшалом пеньке покурить присел. Махорка у него горлодер, хватишь раз, на час не раскашляешься, а на вольном воздухе — одно удовольствие. В голове словно овчиной проволокло, руки ноги, как чужие повисли.

На одну минуту глаза завел, а сколько всяких пустяков в голове побывало! Сперва будто отец-покойник пригрезился и как всегда бывало: «умру, хозяин в доме останешься, надо к порядку приглядываться», а тут вдруг как-то случилось—Дема уж на поле. Гнедому торбу подвязал, а сам за лукошко взялся. И до чего явственно, словно и в самом деле! Лукошко опрокинул и даже мычелками по дну стукнул. Два желтых листочка вылетели, между колес покрутились и под телегой легли.

Из полного мешка в лукошко ржи насыпал, не забыл, как отец учил: «по первую бичайку, а то больно будет плечо резать и в руке той развязности не станет».

Сыплет рожь, а она крупная, желтая, точно ее перед этим мыли нарочно. Широкий ремень на плечо закинул и на солнышко поглядел:

— Господи, благослови!

Жеребья протянулись чуть не на версту, с бурой горбиной по середке, а к меже покатые, в луночку.

Полной горстью из лукошка рожь берет и влево от себя, как огнем брызжет, по лукошку бьет и на темную землю, как золотую сеть, стелет.

Раза два к солнышку спиной оборачивался, а рука метать не устала и в лукошке зерно не убывает. По зеленому долу туман барашком завивается, по надречному тальнику в кустах вязнет, а солнце-то греет, а солнце-то радуется. Радуется и Дема с ним. На последнем повороте фуражку на телегу бросил. Гнедой хозяина увидал, мордой весело торбу подбросил и хозяину голос подает: — «Ишь тебя разбирает» — на гнедого крикнул и только сейчас заметил, что у него спина лункой.

В сторону обернулся, какой-то карапуз с кошелем трясется: не Петька ли? Так и есть — завтрак несет.

— Петька, сюда, сукин сын, что ты там по кустам плутаешь!..

Крикнул и очнулся. Все на том же пеньке сидит, а у ног недокуренная закрутка валяется.

Сердце в груди трепыхает, словно выпрыгнуть норовит, а с чего бы, и сам не придумает.

Проклаждаться некогда, надо потихоньку двигаться. К вечеру и то пожалуй не обернешься, ежели Данило по-настоящему приветит. На выходе к Оборину сверху начал снежок падать и будто потеплее стало: — «к ночи бесприменно обмякнет». Шагу прибавил и вдоль Оборина к Починковскому прогону трафит. У вика народ ватажится. Кое-кто Баюнова приметил:

— Покурим, давай...

— Тороплюсь, больно...

— Брось, не жениться едешь...

Поздоровался. На завалинке мужики место дали. Народ—ближняки, с каждым за свою жизнь не раз встречались, а как встретились, один припев: «Ну, как дела, рассказывай». Словно от его «делов» и другому корысть будет.

— Каки наши дела? у всех одинаковы...

— Это как есть... Правильно... Наши дела, только бы дух перевести... Вот, все с налогом маемся... Вызвали... А у вас как?

— Которые полностью, а у которых и почина нет. Я бы вот и внес да не за што, — Дема смеется, — урожай в чужих амбарах...

— Слышали, как же... Больно ты ослаб, Дементий.

— Правда ли, нет ли, будто Кокин у тебя гумно отбивает?..

Дема удивился, как это все скоро по округе разнеслось. Не иначе, раньше слух был, только он не догадывался. Тогда на погосте Феклист подсыпался, скорее всего насчет этого.

— Отбивает, как сказать, мы еще поглядим, а что наскок делал, это правильно...

— Эк, у человека жадность, робяты, — Никанор Овцынский удивился, — все хапают, все хапают, а нет штобы в голову взять: у кого? у свово брата...

— Ежели человек, которого чорт осетовал, он не только у брата, отца родного обдерет...

— Вон, Серега Раменский, кричи его сюда...

Серега подошел и тоже на завалинку сел.

— Вот, большевик сам, он тебе всю подноготную выложит, — Никанор Дему подталкивает и начал Раменскому «суть дела» рассказывать:

— До чего человека мир довел... Останну усадьбу и ту для Кокиных отбирает...

Сереге смешно. Ну кто такому вздору какую ни на есть веру даст, чтобы у крестьянина, скажем, землю отобрать, ежели он сам на ней работать хочет?

— А вот отбирают...

Дема стал по-своему рассказывать. Верно, хозяйство у него — одна видимость, на дворе одна

скотинина, да и ту по случаю удалось на двор залучить, а то бы как есть бобыль, а чтобы последнюю усадьбу по доброй воле Петрухе Кокину уступить, на это его согласья не будет.

— А если мир человека обидеть захочет, я тоже терпеть не стану... И греха не побоюсь...

— Ах, Баюнов, Баюнов, — Серега над Демой смеется — а ведь плохо твое дело, с миром не сладишь...

— Супротив мира где, — и другие с Серегой согласны.

— Мир, ежели что, в бараний рог согнет...

Дема в задор пошел и никак себе в голову не возьмет, чтобы свои люди, с которыми он возрос, и такое дело сделали.

Раменский все больше помалчивал, да и говорить ему не хотелось. У себя в Рамешках он давным давно все по-своему поворотил, а до этого над ним мало ли смеялись. О чем только ни заговорит, сейчас же в глотке перехватят:

— Знаем, на чью руку гнешь...

— Партейный, тебе что!.. На свою ногу топор не уронишь...

Видит Раменский, что с мужичками пива не сваришь, и начал в одиночку делами ворочать. Сперва на участок выделился. Земля досталась — песок вертячий: усадьбу пришлось на болотине заводить, а чтобы избенку грязь не засосала, целый месяц с семьей канавы рыл.

Через три года на Серегино хозяйство мужики завидовали:

— Вот оно что значит, если человека из города подпирают...

Город, правильно, Серегу не оставлял, и тем и другим бедняцкое хозяйство подпирал: что семян, что удобрения, что в долг какую машину

отпустить — не отказывал, а если когда мужики взгрустнутся, что дескать «нашему брату ниоткуда не жди», Серега каждому попытать советовал.

Недолго Сереге в своей деревне завидовали, скорехонько сами за ум взялись и по Серегиной тропе пошли. Годок-другой помотались, а теперь рукой не достанешь. Правда, и сейчас еще с опаской на новизну лезут, но машины под сараем не у одного Раменского. А Раменский такой уж человек неспокойный. Кажется, чего не хватает? И хлеб, и скотина, и на миру первое место, так нет, все куда-то опять возносится и про какую-то новую жизнь говорит.

— Робяты, время другое... В своем гнездышке не просидишь... Надо на другой аршин мерить... У меня участок, к примеру, девять десятин. Копаюсь, ладно. Хлеба хватает, картошку скотине травлю, а вот как быть, сыновья подрастут, их у меня пятеро...

— Ишь он о чем! Когда што будет... Нам бы господь привел как-нибудь малолеток на ноги поставить...

— А я по-другому... Поставить не вешь, с голода не подохнут, а можно так сделать, что ни дети ни внуки нужды не узнают...

— Далеко больно загадываешь... Внуки... Это, Серега, уж как будет богу угодно...

Другим, конечно и бог не указ «бог, мол, бог, да и сам будь не плох», а как бы вот Раменский посоветовал с нуждой бороться.

У Раменского давно все придумано. Стоит ему в какую-нибудь книжонку заглянуть и пожалуйте, все как для них писано.

— По книжке, Сергей, не диво... Сказка, она сказка и есть, а ежели вот, где своим горбом, тут как? Вы там все думаете: «мужики себе добра не

хотят, по нашей указке жить не хотят», да, сделай милость, научи...

— Мало вас учили, — Серега отмахнулся: — Время придет, сами догадаетесь...

— Да уж пришло...

— Пришло, так давай развертывайсь... Вы все собираетесь в своем углу рай устроить, а не замечаете, что углы-то сгнили и паутиной заволокло.

— Ты все с подъеготами... Паутина, верно, так уж без этого нельзя... насекомая...

— По углам нечего жаться, надо на улицу выходить, штобы паутина глаз не застила...

— На улице, бывало, только коровод водили... Правда, весело... Возьмутся за руки и ходи кругом...

— А работать еще веселее...

Кому как! Тут тоже подумать надо. Не первый раз от Раменского такие речи слышать, только вот как все это на деле будет. Он все больше вперед заглядывает, что через двадцать годов будет. Нет, ты научи, как вот завтра быть? Ну, скажем, на все твои речи согласны, давай будем по-новому жить: трехполье по боку, сохи на поветь закинем, лукошко бабам для кур отдадим, а сами за сеялки, веялки и сортировки возьмемся, а тут и стоп машина. Веялки да сеялки к нам с неба свалятся?

Вот этим самым всегда Серегу в лоб били. И в самом деле, другой хозяин никак на новую сбрую не выгадает, а тут о тракторе да всякой всячине. Начнут Серегу честью уговаривать:

— Ты, Сергей, человек неглупый... что мы не видим что ли, а вот на счет этого у тебя понятия нет...

Сереге за последнее время страсть надоело с мужиками спорить. Что ты ни говори, все будут

на одном стоять: «отцы, деды так, не нами начато, не мы кончать будем», а он тут и поперечит:

— Нет, старики, что ни говорите, а нужда заставит эту поговорку бросить... Не вы, так ваши дети за ум возьмутся, — а потом будто кстати напомнит, что: «в городе лен в цене, а у нас его только бабам на нитки. Хорошо бы на будущий год миром под увалом платуху поднять да льном и засеять».

Кто против этого спорить станет. Главное, семь десятин вот уж который год в пустыре лежат.

А весна придет, вспашут, посеют, осенью у Раменского новые «планты»:

— Лен по рукам не делить, а на вырученные деньги молотилку на деревню... а лишки будут, в кассу сдадим...

Потихоньку да полегоньку, так всю деревню оборудовал. Теперь добивается, как бы узкополосицу нарушить.

Рассказал ему Дема, как свои же деревенские супротив его нос задирают и какое от них утеснение видит:

— Замотали, понимаешь, дивы бы я кому худое сделал.

— Усадьбу у тебя не возьмут, об этом и говорить нечего, а что оплошал ты, тут другой разговор... Ты куда идешь?..

— В Починки иду, лошадь попросить, — о том, что главное с Данилы долг получить он и перед Серегой не обмолвился, не подумал бы: «вот, мол, на бедность жалуется, а сам еще в долг отдает».

— Я к тому, може, ко мне завернешь...

Да, с радостью. Что у него заделье какое или сам собой не распорядится:

— Вот дров навожу и бесприменно...

* *
*

В Починках стали огни зажигать, а Дема еще только в деревню ввалился. По слободе шел, мимоходом в окошки заглядывал. Куда ни поглядит — вся семья в кучке, где чай пьют, где за ужином. Мужики за столом, а бабы от стола к печи, от печи снова к столу. Ребята возле отцов жмутся, и думается ему:

«Живут же люди!».

И так ему самому захотелось так же вот за столом посидеть, чтобы на столе самовар кипел, а над самоваром лампа висела, а на лампе белый абажур с решето. И главное, самое главное — баба возле, не Верка, у которой под самоваром ноги гнутся, а чтобы здоровенная, рукава засканы и в лице усмешечка. Варвара, не тем будь помянута, тоже не дурного лица, только угрюмость портила, а по семейному делу веселая баба — клад.

У Даниловой избы что-то не по себе сделалось. Как еще примут? «Вот, — скажут, — человеку не терпится, боится, как бы его деньги не замотали». Раздумывать некогда, в боковое окошко стукнул и стал дожидаться, когда занавеску одернут.

— Кто там? — Колька первый услыхал. — «Баюнов», — кому-то в избу сказал и пошел калитку отпирать.

Все Панихины по своим углам разбрелись: Данило на печи, Тоня за пологом, Санька что-то в чулане копалась, а Кирьки совсем не видать.

Колька по избе заходил, будто больно гостю обрадовался, стал и Данило с печи спускаться. Санька издали головой мотнула и опять над чем-то в чулане завозилась.

— А я все сам собирался, — Данило говорит и рядом с Демой на скамейку сел, — только никак все время не выберу...

Колька заставил жену самовар ставить, а Санька, чтобы двум в кухне не толкаться, с работой к порогу ушла. Пригляделся Дема — укладку разбирает.

Данило догадывался, зачем Дементий пришел, но с тех пор, как свадьбу отгуляли, лишних денег в доме не было. Все, что с Киркой заработали на мосту, ушло на уплату более неотложных долгов, купили новый стан колес, а самую бо́льшую часть денег истратили на покупку старого амбара в своей же деревне, чтобы весной пристроить кухню к тесной избе.

— Ты, чай, за деньгами, Парфеныч, а мы, поверишь или нет, вот как изнуждались, — повесь ты меня сее минуту, трешницы в дому не найдешь.

Дема только головой покачал. Сказать, что в деньгах не нуждается, язык не поворотится, а если с ножом к горлу приставать, все одно ничего не выйдет — на нет и суда нет.

— Без хлеба сижу, — Дема голову наклонил и стал пустое блюдечко на столе повертывать.

Кольке тоже стыдно: «мужика обнадежили, а теперь сам без хлеба»; говорит:

— Погоди недельку, на-днях на мельницу поеду, муки тебе — сколько хочешь...

Покуда мужики говорили, Санька не ввязывалась, за стол не садилась и все по каким-то делам по избе мыт-мытом. Сноха тоже молчала, ее совсем не касается, занимали деньги до нее, а Колька зря перед Баюновым мелким бесом извивается, пусть отец как хочет.

Санька последнюю вещь в сундук положила и крышкой прихлопнула, потом его под кровать задвинула и сама на скамью села.

«Как есть чужая», — Дема про Саньку подумал и почему-то на Данилу рассердился. Нет, видно, по-хорошему не разойдешься, придется нахрапом брать:

— Как хотите, а поплатиться надо, главное сам обнищал...

Тоня фыркнула и на Кольку поглядела: «вот, мол, как с вами». Данило божиться начал:

— Гроша расколотого и того нет... Колька, — Данило к сыну обернулся, — добеги до тестя, не даст ли хошь красненькую...

Тоня и руками замахала:

— Каке у батюшки деньги, намедни останны в вик отнес...

Тут уж и Санька не вытерпела. Отца ей, конечно, жалко, а вот брата, что так жениться поторопился, она и сейчас осуждает. Особенно на сноху сердится: другой месяц в дому, а все вон глядит. Спит, видит, как бы мужа из семьи выдернуть да к своим уйти.

— Чем Юровым кланяться, лучше свое получить... Сколько ты с Лексевых за тягло взял? — Кольку спрашивает. Санька знала, что за уборку земли с Лексевых не все получено, а Колька отцу доказал, что и получить нечего: «шильцем да мыльцем забрали из лавочки». А Лексев сам проговорился, что: «вот еще Панихиным две красных должен».

Покуда брат с сестрой счеты сводили, отец со стыда горел:

— При чужом человеке, ну-ко!..

Саньке стыдиться нечего: «пусть знает бог и добры люди, какую она жизнь нажила».

— Она вот, — на сноху показала, — без года неделю живет, а всю семью перемутила...

Сноха только фыркнула и к себе за розовый полог ушла. Кольку еще больше взорвало. Теперь уж он от отца одного хочет:

— Скажи, с кем остаешься... Либо я уйду, али она пусть уходит...

Даниле и того и другого жалко, хочется ему, чтобы все в миру да согласии жили, а ежели теперь которого на сторону отпустить, значит опять все хозяйство нарушить. Теперь не стара пора. Бывало какой заартачится, а ему: «уходи, сделай милость, бери свою красаву и будь здоров», а теперь извини пожалуйста: сын уходит, ему долю выдели, дочь поднимется, надо и эту удоволить — всем поровну.

Баюнов от чая отказывается да и наливать некому. Санька к столу не подходит, а сноха в пологу сопит. Уж раз такое дело, что в семье грех завелся, хорошего ждать нечего.

— Спасибо, говорит, за чай, за сахар, а мне надо домой итти...

— На ночь глядя? — Данило и слушать не хочет, — да разве у нас места не будет?..

Колька тоже об этом:

— В такую пору! Погляди-ко снег валит, зги не видно...

— Уж больно я не люблю, когда грех какой..

— А ты полно, Парфеныч, — Данило уговаривает, — где этого не бывает?.. Народ молодой, понятия того нет, чтобы один другому уважить... Санька, она зря не будет, а Миколай еще молод больно, как петушок годовалый, с нашести не слетел, а уж на крыло наступает...

Дему усадили еще стаканчик выпить, а за стаканчиком договорились, что с пустыми руками его не пустят, если уж денег нет, так и муки и кар-

тошки, хошь целый воз вези. Лошадь? — стоит говорить об этом?

— Бери завтра с утра, держи хоть неделю, все одно даром корм гатит...

Спать укладывались. Дема опять про Саньку вспомнил: «житьишко девке не завидное, в самый бы раз за меня замуж итти». И тут же другое выплыло: «на что глядя, такую обузу навлекать». А уснуть все-таки скоро не удалось, вторые петухи пропели, а он все с боку на бок ворочался, два раза курить вставал, и только когда Кирька с гулянья вернулся, заснул как-то нечаянно.

Утром, покуда Данило с Колькой лошадь снаряжали, а Тоня ушла корову доить, с Санькой у Демы разговор вышел:

— Ты на меня не обижайся, я тебе по-хорошему: выходи замуж и все тут...

Санька на Дему глаза вскинула: «с чего, мол, это ему в голову пришло», и тут же сразу догадалась, что мужик сам на нее метит:

— За тебя што ли?..

— Подумай, давай...

Ничего не ответила, не успела, скоро со двора мужики вернулись и стали рассказывать, где мука положена, с которого бока у телеги грядка ненадежна, а в сани запрягать, как бы в пути не огрязнуть.

Рамешками проезжал, на Серегину избу поглядел: заехать бы, да с возом канители много, в другой раз лучше нарочно сходить, кто знает, може такой совет подаст, потом целый век благодарить станешь.

А Санька-то! Здесь, пожалуй, на дело похоже. Если бы Демины слова мимо ушей пропустила, кто бы ее заставил такие слова сказать!

Мужики до ворот проводили, а она до прогона лошадь за подуздцы вела:

— Ну, поезжай с богом, как-нибудь загляну, если дорога случится.

Оттого ли, нет ли, только Деме все по-другому казаться стало. Та же дорога, да не та, ели уж на что угрюмы, а теперь и они приветливы, а когда деряба с дороги поднялась и чуть не над самой головой у Демы стрекотать начало, у мужика и совсем сердце отмякло.

Без бабы за год наскитался, жизнь не мила стала, а тут еще эта нужда под ножку норовит, ну, как тут на ногах устоять? А если бы теперь Санька не погнушалась да за него замуж пошла — вот и опять житель. Неужто он при такой силище, — Дема себе на руки поглядел, — для семьи пропитания не сыщет? А без бабы ему нет возможности, може вся и нужда из-за этого. При Варваре и то так не бедствовал. К Мызину стал подъезжать, снег повалил хлопьями, в колеях вода появилась — «и то, что в телегу запрягли, а на полозу теперь бы ни почем не проехал», — Деме в голову пришло, когда он на гать въехал.

Перед самым Мызиным опять про усадьбу вспомнил: «неужто на подлецов управы не будет»?..

Не успел к своей избе заворотить, а ребята отца заприметили и в окошки тычутся:

— Я вас, — Дема кнутом погрозился, да разве обманешь, сразу догадались, что отец по-нарочна сердится.

Вечером Петька зашел и прямо у ворот на телегу наткнулся: «не иначе папаня лошадь купил». Калитку отворил и ухом к хлеву обернулся: так и есть, тут уж всякий отличит, что корова

пыхтит и что лошадь пофыркивает. Не утерпел, на ясли стал и в темноте лошадиную морду нащупал:

— Вот она. — За челку подрал и губами почмокал. Большие всегда так с лошадьми разговаривают, а когда та сердито головой замотала, Петька басом прикрикнул:

— Стой, окаянная...

Дома всех за самоваром застал и первым долгом насчет лошади:

— Купил, папаня?..

— Купил, купил... садись чай пить, — а потом уж за чаем признался, что лошадь на время у Данилы выпросил и завтра с утра за дровами поедут.

Петьку как варом сварило:

— А я было думал...

— Думать нечего,—отец утешает:—как только справимся, так и свою заведем...

Весь этот вечер прошел как у праздника: Верка на мешки радовалась, Панька с Сенькой по лишнему кусочку сахара получили, а сам Дема то и дело на двор выходил и прислушивался, как Данилова лошадь сено похрустывала.

В последний раз попоить вышел, а в голове, как в котле кипит: ну будь у него лошадь, и всю нужду, как рукой снимет. Теперь куда ни сунься, везде работа, и на заводе, и на станции. При лошади и на дворе-то по-другому стало. Лошадь скотина разумная, только человека заметит и сейчас же голос подает, а корова что: пучит бельма да дожидается, когда ей в ясли корму навалят. Даже дух на дворе и тот другой.

Калитку отворил и на улицу выглянул: снег валит по-старому, и вроде как бы теплее стало:

— К утру не подморозит ли, а то беда, отпустит нипочем на гриву не проберешься, — с этим и спать лег.

К утру не подморозило, а снег остановился. Деревня стояла умытая и словно распухла вся: на крышах, на завалинках, на поленницах дров лежал толстый слой снега, даже журавель на колодце и тот на хребте белый вал держит.

Петьку Феклист с утра отпустил, только вечером зайти приказывал: из города порожняки поедут, одному ему не справиться.

На колесах ехать и думать нечего, надо у кого-нибудь сани просить. И на того, и на другого подумает, а кориться не хочется. Корись, не корись, а лошадь зря держать нечего. Пошел к Осокину. Не больно охотно, а отказать пожалел:

— Возьми, только надо новые оглобли ввернуть...

Оба на двор вышли и в полчаса все дело оборудовали. Осокин на Дему не больно сердится, а все-таки не то, что раньше было. Теперь и говорит и все как одергивает: «ладно, мол, какой ты есть человек, ежели своему слову не хозяин».

На полозу совсем другое дело. Сани как по маслу плывут, даром, что дорога не наезжена. У колодчика с большака своротили и лесом поехали.

— На, подержи,—Дема Петьке вожжи кинул,— а я попробую, лед удержит ли?..

До половины болота прошел—дорога надежная. Возле коч, правда наслуд выступил, а по гладкому месту и лошадь подымет. К Петьке вернулся и лошадь за подуздцы повел. До гривы благополучно добрались. Первый воз небольшой наклали и обратно поехали. Два раза до вечера

оборотили, а на третий раз Деме пришлось одному ехать, Петьку не стоит задерживать, как бы еще Феклист не рассердился.

Верке приказал часа через два самовар готовить:

— Если Петька вернется, пусть лошади получше в колоде замесит, а чтобы корова не спорола, почаще на двор заглядывай.

Ехал и думал: отчего у него так жизнь не заладилась? Все люди, как люди, и только он на особину. Панины! Они ли нужды не хватили? Они ли не колотырничали, а теперь, гляди, на людей стали похожи. Да что это, в самом деле, неужто теперь до самой гробовой доски, как рыба об лед биться, а другие-прочие, которые его подметки не стоят, станут отваля ногу жить и над его положением смеяться?

Тут ему опять Хруполо вспомнился и как его племянник Естроп на дворе ремнем охаживал: «видно еще хуже бывает» — это он вслух сказал и, чтобы поскорее из памяти выкинуть, на лошадь вожжами замахнулся.

Покуда до болота ехал, всю свою жизнь наизнанку выворотил, с кем говорил, что из книжки вычитал, большевиков, Серегу Раменского, все, как говорится,—на кон поставил. Если деревня откажалась, надо в эту сторону качнуться. Теперь, как только лошадь к Даниле угонит, обязательно—к Раменскому:— «Научи, сам видишь, что дальше ехать некуда».

Дорога по болоту пошла, слышит Дема, как полоз по воде шипит, «выступила»—в голове мелькнуло, и под коленками солому пощупал, вода не достает ли. В одном месте лошадь точно оступилась на одну ногу и тут же опять оправилась. Перед самой гривой полынья оказалась, Дема на

ноги стал, а все-таки чуть за голенищи не хватило: «пронеси господи», — по старой памяти шепчет и только тут пожалел, что с собой Петьку не взял.

Последний воз тяжелее первых оказался, главное, кабы своя лошадь была, можно лишний раз съездить, а сейчас—«ни два, ни полтора», как говорится. Лошадь у Данилы добрая, не только кнутом, вожжей шевельни, так она из оглобель рвется. Полынью в два счета перемахнула, а по ровному месту пошла, Дема в трусенку не поспевает. Перед самым лесом, где прошлый раз оступилась, что-то опять стала: головой мотает, то в ту, то в другую сторону. Постояла минуту, Дема опять посылать стал. Сани в снегу, пристыли, не сразу с места сдвинулись, а лошадь, как на грех начала по сторонам метаться и все норовит, как бы дорогу стороной миновать. Пытался Дема за подуздцы провести — упирается: «не иначе плечи обожгла, тяжело наклал».

Свалить бы половину да в воде чуть не по колено, возни-то много. За повод повел — упирается: «что ты будешь делать» — Дема из сил выбился.

— Ну, еще маненько, ну милая, — сам плечом с боку уперся,—ну еще разок...

Лошадь сразу сорвалась и пошла, да не по следу проложенному, а шагов на пять в сторону забрала, Дема сбоку бежит, легонько вожжей трогает:

— Но, но, но!

Стала и опять дернула. Дема последние силы собрал, сбоку воз подпирает, и вдруг под ногами сразу все куда-то в сторону поехало — плашмя на лед повалился и на четвереньках по ледяной воде отполз; обернулся—лошадь на боку и только одной головой, как поленом бьет:

— Батюшки, погибаю! — на весь лес заорал и сразу по пояс в воде очутился. Кинулся к лошади, а та передними ногами бить начала, никак ты ей супонь не развяжешь. Топоришка хватился, чтобы гужи обрубить и того за кушаком не оказалось:

— Караул, помогите! — еще шибче взвыл и опять начал закоченевшими руками ремни теребить. Попытался сивому голову поднять, да где тут, только за уши ухватил, как он снова в полынье заметался самого Дему свалил и под себя подмял.

— Погибаю! еще раз крикнул и начал об одном думать, как бы самому живому выбраться. Попробовал свободной ногой оттолкнуться, лошадь еще больше забилась, на ноги привстала, дернулась и снова в воду ткнулась. Дема с головой окунулся и тут же выскочил. Ледяная вода, как кипятком жжет, ноги, как свинцом налиты, хотел на голове фуражку поправить, а руки не слушаются:

«Надо на деревню бежать—в голове мелькнуло—только лошадь как? Неужто погибать животине...»

По оглобле опять к голове добрался, ноги все глубже в болотине вязнут, у лошади голова, как поплавок, на одном боку плавает и только один глаз круто белок выворачивает. — «Погибать так вместе»—Дема решился и лошадь за шею обнял.

Сивый на коленки привстал и как-то удалось на задних ногах укрепиться: вправо, влево метнулся и—вперед, машками, по-заячьи... Раз, два и огряз! Воз всей головашкой в лужу ткнулся и стал, хвост задравши, как утка, когда она по лужам щурят ловит.

— Погибаю! — Дема в последний раз крикнул и попытался из-под передка выбраться, которым его на коче распластало.

«Вот и стал на все четыре копыта» — словно ему кто на ухо шепчет. Упершись руками в корневище болотное, коленками кочу в обхват, а вода все выше и выше к подбородку лезет. Сивый опять в оглоблях забился, чем-то острым по спине задело и назад на кочу дернуло.

«Смерть моя, вот она где».

— Петька! — с этим и голос рушился. Да больше и кричать нужды нет.

Все одно полуночь глухая, и ни одна душа не отзовется. Умирать значит? Нет и умирать не охота, только бы этот груз со спины стряхнуть. Попробовал — руки и ноги не слушаются.

Лицом в мокрый мох окунулся и глаза зажмурил.

Откуда-то жаром пахнуло и по телу мурашки забегали, не похоже, что в болоте огряз, а будто на печи тянется, а Верка чай пить зовет.

— Погоди минутку, уж больно вставать не хочется...

Где-то далеко в набат ударили, полнеба заревом охватило, по-над лесом кто-то страшенный шагает: сапожищи огромные, слышно, как под ними вода чавкает.

— Вот невзначай наступит!

Так и есть: точно копной придавило; с кочи сорвался и камнем на дно...

Рабочее Издательство „ПРИБОЙ“
Ленинград, ул. Герцена, 15, тел. 217-79.
Москва, Лубянский пассаж, № 46 — 49, тел. 2-24-09.

НОВИНКИ ПРОЛЕТАРСКОЙ ЛИТЕРАТУРЫ

Вышли из печати:

Безыменский, А. — Феликс. С портретом Ф. Э. Дзержинского. Стр. 24. Ц. 20 к.

Скоринко, И. — Стальной гамуз. Стр. 64. Ц. 40 к.

Фадеев, А. — Разгром. Роман. Стр. 215. Ц. 1 р.

Печатаются и готовятся к печати:

Брыкин, Н. — Люди низин. Повесть.

Крайский, Ал. — Повесть о солдатских костях, погребенных в Турции.

Лошкин, Ф. — Мещанская жизнь. Повесть.

Лузгин, М. — Хуторяне. Повесть.

Никифоров, Г. — У фонаря. Роман.

Семенов, С. — Наталья Тарпова. Роман.

Соловьев, Борис. — Книга стихов.

Фадеев, А. — Против течения. Повесть.

Фиш, Геннадий. — Книга стихов.

Чумандрин, Мих. — Родня. Повесть.

РАБОЧЕЕ ИЗДАТЕЛЬСТВО

«ПРИБОЙ»

ЛЕНИНГРАД, УЛ. ГЕРЦЕНА, № 15, ТЕЛ. 217-79.
МОСКВА, ЛУБЯН. ПАССАЖ, 46—49, ТЕЛ. 2-24-09.

НОВИНКИ ПРОЛЕТАРСКОЙ ЛИТЕРАТУРЫ

ВЫШЛИ ИЗ ПЕЧАТИ:

Безыменский, А. — Феликс. Поэма. С портретом Ф. Э. Дзержинского. Ц. 20 к.

Крайский, Ал. — Повесть о солдатских костях, похороненных в Турции. (Поэма). Ц. 30 к.

Скоринко, И. — Стальной гамуз. Ц. 40 к.

Фадеев, Ал. — Разгром. Роман. Ц. 1 р.

ПЕЧАТАЮТСЯ И ГОТОВЯТСЯ К ПЕЧАТИ:

Брыкин, Н. — Люди низин. Повесть.

Лузгин, М. — Хуторяне. Повесть.

Никифоров, Г. — У фонаря. Роман.

Соловьев, Борис. — Книга стихов.

Семенов, Сергей. — Наталья Тарпова. Роман.

Фиш, Геннадий. — Книга стихов.

Чумандрин, Мих. — Родня. Повесть.

ЦЕНА 1 Р. 50 К.

ТОРГСЕКТОР ИЗД-ВА „ПРИБОЙ"
ЛЕНИНГРАД: УЛИЦА ГЕРЦЕНА,
ДОМ № 15. ТЕЛЕФОНЫ: 217-79, 217-78.
МОСКОВСКОЕ ОТДЕЛЕНИЕ:
ЛУБЯНСКИЙ ПАСС., 46—49. Т. 2-24-09.
ОТДЕЛЕНИЯ: В РОСТОВЕ-НА-ДОНУ,
ХАРЬКОВЕ, КИЕВЕ, СВЕРДЛОВСКЕ,
НОВГОРОДЕ, ЧЕРЕПОВЦЕ,
И В УЕЗДНЫХ ГОРОДАХ
ЛЕНИНГРАДСКОЙ ГУБЕРНИИ

UNIVERSITY OF N.C. AT CHAPEL HILL
000000564286